



В

НОГУ

С

ТРЕВОЖНЫМ

ВЕКОМ

•
Воспоминания об
Иосифе Уткине
•

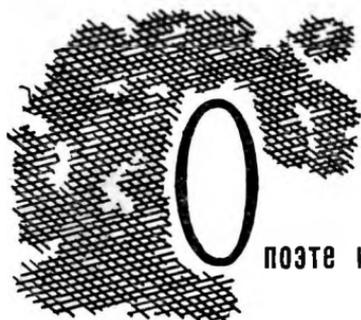
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва · 1971

Воспоминания о крупном советском поэте И. Уткине займут достойное место в ряду других книг этого жанра. В сборнике рассказывается о жизни и творчестве поэта, о первых литературных шагах, о трудных творческих поисках, о работе его в «Комсомольской правде», Гослитиздате, о встречах с В. Маяковским, о напряженной работе поэта во фронтовой газете.

Авторы вспоминают об удивительной способности И. Уткина всегда откликаться на требования своего времени, идти «в ногу с тревожным веком». Много интересного о поэте рассказывают старые большевики, литературоведы, деятели искусств и конечно поэты. В сборнике много забытых и неизвестных материалов, обогащающих наше представление об Иосифе Уткине и его творчестве.

Со страниц книги встает обаятельный образ поэта и образ времени, в которое он жил и творил.

Составитель Давид Фикс



поэте и друге

Толпятся воспоминания и заслоняют друг друга...

То я вижу Иосифа Уткина совсем юным, только что приехавшим из Иркутска в Москву, то вижу его на трибуне, покоряющим аудиторию, то вижу Маяковского, восторженно принявшего «Повесть о рыжем Мотэле». И — последнее воспоминание — я вижу Уткина инвалидом. Ему в бою оторвало четыре пальца правой руки. Он был очень музыкален и теперь навек лишился возможности прикоснуться к инструменту. И вот осенью 1944 года я узнаю, что друг мой погиб при авиационной катастрофе, возвращаясь с фронта, и читаю посвященный ему некролог...

Мы появились на свет в одном и том же — 1903 — году, и жизни наши начинались по-разному. Он родился в Сибири, я — на Украине, мое детство солнечное, его — суровое. Но в годы гражданской войны судьба у нас стала одна и одна дорога. Фронт. Комсомол. Учеба (Иосиф Уткин учился в Коммунистическом институте журналистики). И его и меня горячо интересовало строительство Комсомольска-на-Амуре.

Мы были молоды в очень интересное время. Сейчас

наша страна пожинает огромные успехи своих трудов, а тогда она только начинала жить и строиться. В то время не было еще ни одного автомобиля, ни одного трактора отечественного производства.

Мы с Уткиным писали по-разному и очень похоже. В нашей творческой дружбе нас больше всего роднила одна тема — тема комсомола. Мы ушли из комсомольского возраста, но огонь, у которого мы грелись всю комсомольскую юность, мы унесли с собой в будущее. Об этом хорошо сказал Уткин в стихотворении «Молодежи»:

Нас годы научили мудро
Смотреть в поток
До глубины,
И в наших юношеских кудрях
До срока —
Снежность седины.
Мы выросли,
Но жар не тает,
Бунтарский жар
В нас не ослаб.
Мы выросли,
Как вырастает
Идущий к пристани корабль.

В чем секрет успеха поэзии Иосифа Уткина, успеха, мгновенно снимавшего его стихи с книжных полок, срывавшего овации не одного зала?

Секрет в полной гармонии личности поэта с его творчеством. Он звал к благородству и сам был благороден, славил любовь и сам был полон любви, призывал к мужеству и был необыкновенно мужествен.

Жизнь каждого хорошего поэта — это завещание следующему поколению поэтов. И недаром во многих современных стихах мы встречаем «уткинские» интонации. Они — эти интонации — заключаются то в доб-

ром юморе, то в мужестве без крика, а иногда и то и другое сливаются воедино.

Боец гражданской войны, поэт Иосиф Уткин погиб в конце Отечественной. Таков диапазон его жизни и творчества. И всегда, до последнего мгновения, одинаково громко стучало сердце поэта. Оно и сейчас продолжает стучать в книгах его стихов. И поэтому стихи Иосифа Уткина современны в полном и самом прекрасном смысле этого слова.

* * *

Когда останавливается сердце друга, кажется, что и твое сердце вот-вот замрет. Это я остро почувствовал, когда вышел из госпиталя и узнал о смерти Иосифа Уткина.

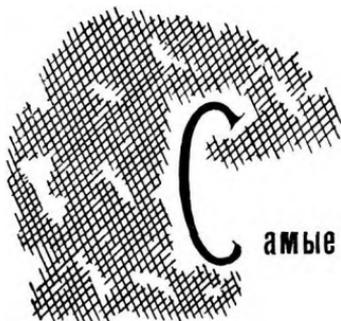
В чем была его прелесть? В том, что он мог мягко, осторожно и доверчиво положить руку на плечо читателя, не уговаривать, а убеждать его. Убеждать в том, что человечество обладает великим здоровьем, несмотря на временные болезни.

Благородство — вот постоянный спутник Уткина. И вторым его спутником было обаяние.

Его жизнь оборвалась, но, сколько бы поэт ни жил, он всегда был бы комсомольцем. Пусть это звучит несколько выпендренно, но он был пророком хороших чувств, и поэтому мы все дружили с ним.

Мы читаем его неопубликованные стихи, и создается удивительное ощущение — умерший поэт заговорил. Хочется поверить в то, что он никогда не умирал. Наследство, которое он оставил нам, заключается не в капитале, а в простой, обыкновенной фразе: «Продолжайте дело, которому я отдал всю свою жизнь».

И мы будем продолжать.



Самые первые стихи

Я вспоминаю Иркутск самого начала двадцатых годов... В городе царили разруха, голод. Разве можно забыть «Неделю сухаря»? Только что была похоронена колчаковщина. Но еще давали о себе знать последствия интервенции и гражданской войны. А вблизи — в Забайкалье, на Дальнем Востоке — шла кровопролитная борьба с японскими интервентами и бандами атамана Семенова... Неповторимые двадцатые годы — ведь именно в это время и в этих условиях — под удаляющиеся раскаты гражданской войны в Сибири — мы и приступили к собиранию молодых литературных сил. Эту роль небезуспешно выполняла наша губернская газета «Власть труда».

Однажды к нам в редакцию зашел молодой человек, предложивший стихи на боевые темы гражданской войны. Далекое не совершенные, но мы почувствовали в них «искру божью».

Я поинтересовался:

— Это ваше первое стихотворение?

— Да, — ответил он.

Далее я стал расспрашивать его о семье, происхождении, его жизни, спросил, что он читает. Больше все-

го мне понравилось неудержимое стремление юноши — звали его Иосиф Уткин — стать поэтом. Помнится, я заметил, что одного желания мало, ибо надо еще многому учиться: важно больше читать, почаще оглядываться на русскую классическую литературу. А стихотворение, которое он принес, необходимо доработать — и указал, в каком приблизительно плане. Для большей убедительности пригласил принять участие в беседе ответственного секретаря редакции поэта А. Вечернего. Он также высказал свои замечания, но уже с профессиональной точки зрения, которые, однако, тоже сводились к переработке стихотворения.

Иосиф Уткин охотно согласился и через несколько дней вновь появился в редакции, а на завтра его стихи были напечатаны. Как будто бы в этом нет ничего примечательного? Но мы в редакции почувствовали, что у молодого поэта пробивается свой голос. К счастью, тембр его — мягкий, лирический — сохранился на всю жизнь. Мы же убедились в этом еще в Иркутске, читая и все чаще публикуя его стихи. Вскоре молодой поэт стал в редакции «своим человеком». Мы часто заказывали ему стихи к важнейшим историческим и революционным датам, а он писал их с большим увлечением.

В иркутском комсомоле, в коллективе «Власти труда» черпал Иосиф Уткин классовую непримиримость. Здесь принимал он активное участие в литературной и общественной жизни. Вспоминается одно острое редакционное совещание, на котором обсуждались вопросы бдительности. Поводом к этому послужил беспримерный случай в редакционной практике.

Передовые, да и многие другие статьи во «Власти труда» заканчивались в те дни лозунгом: «Да

здравствует III Интернационал!» И — о ужас! — в вышедшем номере читаем: «Да здравствует II Интернационал!» Это уже был не ляп какого-нибудь сотрудника, а контрреволюционная вылазка затаившихся в типографии белогвардейцев или меньшевиков, а их было немало. Безусловно, кто-то из них шилом выковырнул одну палочку в римской цифре «III».

Мы приостановили печатание номера газеты и набрали это «III» прописью. Всем сотрудникам редакции было дано строжайшее указание писать «Третий» только прописью. Случившееся послужило для нас серьезным политическим уроком, при обсуждении которого двадцатилетний репортер «Власти труда» Иосиф Уткин занял принципиальную, непримиримую позицию к диверсиям идеологических противников.

Скоро при газете мы создали Иркутское литературно-художественное объединение (ИЛХО), ядром которого стали молодые поэты В. Друзин, Д. Алтаузен, И. Молчанов-Сибирский, И. Уткин, М. Скуратов и старые газетчики А. Вечерний (Голянковский), А. Оборин, Н. Хребтовский, В. Томский, а также художники Бигос, Болдырев-Казарин, Мозылевский. На первых порах печатали стихи преимущественно агитационного плана — особенно большая необходимость в них была в юбилейные дни. Мы стремились в каждом из молодых поэтов (а других не было) развивать и поощрять индивидуальные творческие черты. Бережно, кропотливо помогали им, идейно направляли, уделяя внимание совершенствованию поэтического мастерства.

Иосиф Уткин и его друзья по ИЛХО писали в это время главным образом о гражданской войне, интервенции, о сибирской природе, о чудесных пейзажах

Байкала и Ангары. В душе первых комсомольских поэтов Иркутска рождались пламенные, хотя порой и несовершенно, строки об Октябре, о борцах-большевиках, о рабочих, партизанах — с ними была связана юность поэтов, их жизнь и творчество. Иркутская партийная организация помогала им выковывать марксистское мировоззрение. А диапазон интересов молодых поэтов был широк и разнообразен: они писали стихи не только политические, газетные, публицистические, но и лирические.

Живо вспоминается первое публичное выступление илховцев на литературном вечере, на котором Иосиф Уткин тоже читал свои стихи. Высокую оценку получили его проникновенные строки о беспризорнике и рабочей гордости мастера-столяра. На таких вечерах мы проводили дискуссии о путях развития советской поэзии, разоблачали оживленные нэпом обывательские, мещанские настроения и тенденции. Опасность такого буржуазного влияния на молодежь была очень велика. С полным правом можно сказать, что наши комсомольские поэты смело выступали глашатаями революционной поэзии.

В 1923 году ИЛХО начало издавать ежемесячный журнал «Красные зори». Здесь были напечатаны стихи Иосифа Уткина «Красноармеец», «Микула», «Мать». Стало заметно, что молодой поэт все шире расправляет поэтические крылья. При встречах с ним я часто расспрашивал его о творческих планах, обращал его внимание на то, что основным препятствием для его дальнейшего литературного развития станет его недостаточная общая культура и что ему следует подумать о высшем литературном образовании.

Решив последовать моему совету, Иосиф Уткин

осенью 1924 года приехал в Москву, учиться в Коммунистическом институте журналистики, где мы с ним встретились снова, так как я в это время уже работал в отделе печати ЦК партии. Я внимательно следил за литературными успехами Иосифа в Москве. Его стихи появлялись в центральных и популярных у читателя газетах и журналах. Я радовался его стихам: Иосиф творчески мужал, голос его набирал силу, он смело входил в литературу, все увереннее заявляя о себе.

В 1925—1926 годах мне пришлось работать на Дальнем Востоке, редактировать краевую газету «Тихоокеанская звезда». Получив как-то московский журнал «Прожектор», я прочитал там посвященную мне поэму Иосифа Уткина «Якуты» и вспомнил...

В январе 1924 года я находился в Москве: я был в составе делегации от трудящихся Иркутска на II Всесоюзном съезде Советов и XI Всероссийском съезде Советов, когда мы узнали о смерти Владимира Ильича Ленина, принимали участие в похоронах великого нашего вождя. Вернувшись в Иркутск, я рассказал о всенародном горе, охватившем всю страну, на партийном активе, на котором присутствовали и илховцы. Тогда же они решили почтить память Ильича своим коллективным поэтическим сборником, который так и назвали—«Ильичу».

В этом сборнике участвовали И. Уткин, Н. Хребтовский, А. Вечерний, М. Скуратов и другие илховцы. Поэты вложили в стихи свою безграничную любовь и преданность вождю, веру в бессмертие великого ленинского дела. Стихи Иосифа Уткина были, на мой взгляд, лучшими в этом сборнике, который, как выяснилось уже в наши дни, был первым коллективным сборником в советской поэтической Лениниане, чем

могут гордиться иркутяне. Кстати сказать, сборник был высоко оценен «Сибирскими огнями».

В те дни каждый из поэтов-илховцев оставил свой автограф на моем экземпляре сборника. Уткин написал мне: «Сейчас не могу сказать сильно. Когда смогу — скажу. Это заслуженное Вами спасибо». И потом, уже в Москве, он как-то позвонил мне по телефону и сказал, что работает сейчас над новой вещью, поэмой из сибирской жизни, которую хочет посвятить мне. Я было запротестовал, но он и слушать не захотел. И вот я держу в руках журнал, где опубликованы его «Якуты» с посвящением «Г. Ржанову»...

Во второй половине тридцатых годов мне довелось работать заместителем директора Гослитиздата. И здесь я снова встречался с Иосифом Павловичем Уткиным, уже известным поэтом. На редакционных совещаниях в издательстве он принимал активное участие в обсуждении тематических планов по разделу поэзии. Он помогал руководству издательства привлекать талантливую поэтическую молодежь. Его рецензии на сборники стихов отличались большой компетентностью и знанием советской поэзии. В свои критические суждения он вносил задор и страстность, был очень требователен к поэтам. В издательстве к мнению Иосифа Уткина прислушивались.

Слушая критические выступления Иосифа Павловича, я часто ловил себя на мысли о том, каким он был в начале своего поэтического пути и каков он сейчас — в расцвете своего поэтического дарования. На судьбу Уткина я впоследствии не раз ссылался в своей редакционной практике: если начинающий поэт встретит в редакции газеты, куда он приносит свою первую рукопись, чутких, внимательных и отзывчивых людей,

которые, критикуя его ошибки, в то же время будут искренне рады помочь ему, то это даст ему столько, сколько не даст ни один семинар поэзии при Союзе писателей или Литературном институте. Самое страшное, если молодой поэт встретит в редакции безучастное, бездушное отношение, если не разглядят в первых, робких литературных пробах — будущую счастливую судьбу поэта.

И судьба Иосифа Павловича Уткина — яркий тому пример: по праву он занимает видное место в советской литературе.

И поэтому особенно тяжело сознавать, что замечательный поэт погиб в расцвете своего дарования. Но никогда не забудутся его чудесные стихи. И мне хочется закончить свои отрывочные воспоминания словами поэта, обращенными к солдатам 1942 года, самого тяжелого года войны, словами, полными глубокого патриотизма, ибо Иосиф Уткин был поэтом-патриотом в самом глубоком и истинном смысле этого слова:

Слово храбрых — слово твердое.
И земли родной не выдадим;
Русских можно видеть мертвыми,
Но рабами их не видели!

(«Две старинные русские песни»,
«Солдатская», 1942)



Иркутская поэма

(Из воспоминаний)

Ранние двадцатые годы. Дом № 13-бис на Зверевской улице в Иркутске. Здесь живет доктор — дивизионный врач А. В. Скрылев. Как-то так получилось, что он подружился с журналистами, начинающими литераторами, и они, когда понадобится, идут к нему. Моя комната — рядом. На этой нейтральной почве, за околицами редакции и литературно-художественного объединения, мы встречаемся с Иосифом Уткиным — тут, на Зверевской, 13-бис, и начинается дружба.

— Ты что, Иосиф, делаешь у врача? Неужели заболел? Пустяки? Ну и хорошо, что пустяки. Заканчивай и заходи ко мне.

Открываю свою дверь. В окне задумалось — прежде чем погаснуть — холодное пламя сибирского заката. Следом входит Иосиф, успокоенный врачом и повеселевший: думал, неблагополучно что-то с легкими, а оказалось, действительно пустяки...

Сидим возле угасающего окна. Вообще-то он не любит читать свое, но тут, полузакрыв глаза, читает то, чего я еще не знаю. Странное стихотворение: в нем грусть, даже не грусть, а слезы, плач, жалобы бог весть

на что, на усталость какую-то, на неудовлетворенность. Размягченные строфы замыкает несколько раз все тот же рефрен: «Расскажи мне про Красную шапочку, про козу-дерезу расскажи...» Откуда это?

— Откуда этот мокрый ветер, Иосиф? Чего ради тебе понадобилась коза-дереза? Ведь не твое это, черт побери!

Он поднимается, с хрустом потягивается, зло комкает листок и бросает его в угол, в густеющую тень вечера. Потом улыбается и как-то озорно признается:

— Ну и что ж, что не мое? Мое и в самом деле не то, а зато написано-то как! Плохо разве? Вот *они* говорят, а ведь понимают... В этом-то и главное — не что, а как.

Становится понятно, откуда пришла «Красная шапочка с козой-дерезой» и прочими слезливыми аксессуарами. Это не от недомогания, которое привело Иосифа к врачу. Тут причина и тоньше и опасней.

«Барка поэтов»... «Пестрое содружество писателей, первое время устраивавших свои литературные бдения у поэта Анчарова, а он жил в каюте одной из барок, стоявших на приколе у ангарской пристани... Сборище разношерстной буржуазно-дворянской интеллигенции... Органически они были нам чужды, как и мы им. Манера, сам расслабленный, причесанный и прилизанный, бесстрастный «интеллигентский» язык, внешность, костюмы — отчуждали их от нас — детей народа. Тем не менее они нам казались оракулами мудрости, хранителями поэзии. В кругу этой романтически звучащей «Барки поэтов» господствовала мешанина всех модных литературных веяний и школ того времени: и акмеизм, и имажинизм, и эго-футуризм, и левацкие загибы в поэзии, — все это вывезенное

из столиц напрокат и плохо переваренное». Так писал о «Барке поэтов» М. Скуратов.

Если к этому добавить самонадеянность, позу и стремление «оказать влияние», прибрать к рукам молодых, только начинающих поэтов,— картина в общем станет ясной. И влияние оказывали, иные даже на них равнялись — больше-то пока не на кого было.

С Иосифом Уткиным дело обстояло проще: он был в Красной Армии, прошел курс армейского воспитания, получил комсомольскую закуску, и уже была на нем кольчуга, которую не так-то легко было пробить стрелам барочных «хранителей поэзии». Но ветры романтики оведали его лохматую голову, нежность душевного склада оставляла уязвимые, незащищенные места. (Потом, уже в ИЛХО, и они закалятся.) И вот — странно разведенные розовой подслащенной водичей строки, «Красная шапочка и коза-дереза»...

— Иосиф, у тебя же свой голос, зачем же заимствовать?!

— Не занимаюсь,— резко отвечает он и начинает краснеть. Это у него всегда получается забавно и по-своему: розовеет, потом темнеет до багровости, если очень сердится, краснеет весь — лицо, нос, уши, шея. И резко выступают веснушки.

— Не занимаюсь,— повторяет он.— Что я — мелкий воришка, что ли?

— Да нет, не совсем мелкий, так — средний.

— Докажи,— он поворачивается к окну, смотрит вверх темнеющих уже крыш,— докажи, фельетонист несчастный.

— Изволь: «я устал от белил и румян» и... черт его знает еще от чего... кажется — и от «вечной трагической маски». Известно тебе это произведение?

Теперь он уже постепенно бледнеет,— значит, затронут всерьез, уязвлен, но не сердится, а размышляет.

— Н-да,— цедит сквозь зубы и косит глазом в темный угол, где валяется смятый листок,— ладно, замнем. Вот событие поважней: с «Брагой» Николая Тихонова знаком?

Приходится признаться в неосведомленности. И тогда Иосиф наизусть читает, увлеченно, радуясь тому, что вот какие стихи бывают...

— Подумать только! Вот слушай,— и он снова читает особенно ему понравившееся и, видимо, вошедшее в душу:— «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей»...

Он не расстается с «Брагой». Ее образы, ее люди идут рядом с ним, окончательно вытесняют то, что едва не было позаимствовано с «барки». То и дело слышу: «Гвозди бы делать из этих людей...» А ведь это он ищет таких людей для себя: где-то внутри складывается песнь о таких людях, она еще без адреса... И вдруг я слышу:

— Гвозди бы делать... А что, если... что, если взять военных врачей и сестер?..

Потом я слышал отдельные строки и строфы, видел наброски стихов о военных врачах и сестрах милосердия («Какие они медицинские сестры? Что за неуклюжее имя? Медицинские люди, что ли? Они же сестры милосердия! Милосердия!»— говорил он не раз). К этой теме он возвращался неоднократно. Не знаю, было ли написано задуманное, но как уже знакомое, давно слышанное прочитал я датированное 1943 годом стихотворение «Сестра»: «Когда склонилась надо мною страданья моего сестра,— боль сразу стала не такою:

не так сильна, не так остра» — и подумал, что не забыта им эта тема, рожденная в доме военного врача. Думается, что совсем еще молодой Иосиф Уткин унес отсюда, возможно, первое понимание, ощущение гуманизма, ставшего впоследствии одним из главных направлений в жизни его и в поэзии...

...Дружба наша скоро стала крепкой — настоящей: мы и писали вместе, и на людях почти всегда появлялись вместе. Начали подумывать о псевдониме, коротком, обобщающем, со смысловой сердцевиной. Перебрали десяток вариантов, но ни на одном не остановились. Помог случай.

В Центральном рабочем дворце был какой-то вечер, на котором присутствовали многие сотрудники газеты «Власть труда», где я работал, а Иосиф сотрудничал. В толпе мы разминулись, потеряли друг друга, и тут я нос к носу столкнулся с Адрианом Алексеевичем Голянковским, ответственным секретарем редакции, трудолюбивым и работоспособным газетчиком, незаменимым помощником Георгия Александровича Ржанова, главного редактора нашей «Власти труда» и шефа ИЛХО.

— А! — шутливо развел он руками. — Один Аякс налицо, а где же второй? Почему не вместе? Что случилось? — И он разглядывал толпу, уверенный, что где-то рядом Уткин.

Так оно и оказалось: к нам пробирался отставший Иосиф.

— В порядке! — констатировал Голянковский. — Два Аякса, как всегда, вместе...

Первый же фельетон мы подписали «Два Аякса». Нам было не трудно писать вместе, напротив — даже весело и занимательно. Обычно получалось так. Один,

кто сегодня поленивей, укладывался на диван, другой усаживался за письменный столик, уточняли намеченную ранее тему, и опускалось перо в чернильницу... Но нет, ничего веселого не выходило поначалу. Лист летел за листом под стол, пока не накатывало,— как правило, неожиданно для нас. И дальше уже работали душа в душу, помогая один другому, подталкивая и поддерживая, а если и отрицая, то дружески, любовно. Работать таким образом было истинным удовольствием, наслаждением, которое не забудется никогда: в пределах, разумеется, человеческой жизни. Однополчане!..

...Живут бок о бок двое молодых людей, дружат, говорят друг другу «ты», а потом вдруг переходят на «вы», и тогда соседи (в метафорическом смысле), склонные к привычным схемам, заинтересованно определяют: «поссорились» или, более интеллигентно, «наступило охлаждение отношений». А на самом деле обстоятельства более сложные, тонкие и не всякому «соседу» понятные. Об этом мы толковали как-то раз, лежа на песчаном, теплом, чуть покалывающем спину берегу зеленоглазой Ангары, щурясь на солнце, радуясь самому прекрасному на свете высокому серебристому небу Сибири.

Уткин:

— А ведь, пожалуй, если мы останемся друг с другом на «ты», будет грубо и обиденно...

— Верно, Иосиф,— обиденно... Что ж, выйдем за околицу обиденного.

— Решаем? Всегда — «вы»?

— Почти всегда, п о ч т и... Понимаете?

Он задумывается на минутку и уверенно отвечает:

— «Ты» остается для особых обстоятельств: дол-

гих расставаний и встреч, а еще — призыв к локтю и ответ друга. Тогда твердо скажем «ты». А в остальном пусть будет «вы».

— Решено... Когда переходят на «ты», пьют брудершафт и ругаются, поцеловавшись. А мы какой придумаем «брудершафт наоборот»?

— По глотку из Ангары и рукопожатие. Идет?

Ангарская вода, выпитая из ковшичка двух сплетенных горстей, была прохладной и чистой, а рукопожатие коротким и твердым.

Так и стали мы друг для друга «вы». Но случились и «особые обстоятельства». Дважды. Первый раз, когда он собирался в столицу, а я мечтал о Тихом океане. Было тогда немного грустно, точно в предвидении ломок, бед и сложностей. Иосиф поискал на столе чистый лист, не нашел, взял брошюру в серой обложке и на ней написал:

Когда-нибудь (пройдут года,
Материки, возможно, нас разделят),—
Мы с тихой грустиею всегда
Припомним общих дней и дело и безделье.

А второй раз, спустя много дней, когда я написал ему об обиде и он ответил: «не грусти, я же говорил тебе, что красивые глаза не всегда честные глаза. Не грусти: будут и честные, и ты будешь видеть их еще более красивыми. Выше всего — дружба». Так в особых обстоятельствах один сказал, что ему нужно сейчас плечо друга, и второй сразу же подставил свое плечо, и было это их дружеской тайной много лет...

Иосифу во многом нелегко давалось общение с некоторыми окружающими, прежде всего потому, что у него была нежная душа. Он не сближался с теми, кому

не доверял, в ком чувствовал недоброжелательность, неискренность. А уж с кем близко сходилась — тому был настоящим другом: доверчивым, заботливым, готовым делиться всем, помогать, загородить собой от удара. Он часто оказывался незащищенным, легко уязвимым и ранимым. И он знал это, постепенно выработав свои способы защиты. Побледнеет, вздернет подбородок, откинет чуб, прищурится и цедит сквозь зубы в общем-то достаточно вежливые слова, но наравшемся на них становится не по себе. Однако это всегда, как помню, было ответным, что не мешало тем не менее говорить о «надменности этого Уткина».

В действительности же было это от самозащиты. Люди, близкие Иосифу, знают и помнят, наверно, что в сущности был он очень застенчивым и опасался, чтобы этого не заметили, но больше всего боялся показаться смешным. Вот и натягивал он тогда «маску», которая казалась подлинным лицом. Заблуждение самое очевидное! Но оно было на руку кое-кому, служило источником чудовищных рассказней, и потому обойти молчанием такое я не могу...

...У меня была неплохая по тем временам библиотека из книг по истории искусств, а также гравюры и репродукции, на которые Иосиф обращал внимание каждый раз, бывая у меня. Помню, задумался он однажды над черно-белыми гравюрами Валлотона, а потом заключил: «Это же как стихи. И какие стихи: лаконичные, ничего лишнего и все есть, что необходимо. Вот у таких художников и поэтам можно кое-чему научиться». Я перекинул ему старый искусствоведческий журнал с репродукциями картин Марка Шагала: «А вот выразительность другого рода». И снова долго рассматривал Иосиф эти репродукции, как-то прене-

брежительно отбросив все, подобное «летающему равнине», и задумавшись над реалистичными, несомненно, изображениями косых витебских домишек с подслеповатыми окошками, с нищенским бельишком, вывешенным на просушку, и т. п.

— И вот ведь,— сказал он, словно очнувшись,— так и жили эти люди, да что там жили — сколько еще и теперь так живут... Знаете, Том, что тут, по-моему, главное? То, что живут, сопротивляются жизни, надеются и в борьбу теперь вступают — они же душой все за революцию, за лучшую жизнь. Большинство из них не потеряли жизнелюбия, даже юмора. Будь с ними иначе, не было бы таких, например, писателей, как Шолом-Алейхем с его улыбкой. Правда?

От Шолом-Алейхема перешли к Саше Черному, томик которого Иосиф листал, усмехался, расхохотавшись над строками «царь Соломон сидел под кипарисом и ел индюшку с рисом». Он задумывался над многими стихами, и чувствовалось, что находит что-то созвучное и кособоким домишкам «полосы оседлости» и каким-то своим мыслям. Уходя, он взял с собой томик Саши Черного.

Скоро я уже слышал какие-то забавные стихотворные отрывки из еще не написанной, но рождавшейся вещи, которой суждено было стать «Повестью о рыжем Мотэле». Секрета из этих отрывков Иосиф не делал. Первые наброски оказались слишком близкими к Саше Черному и по музыкальной тональности, и даже иногда по портрету и по рисунку окружения. Такой упрек Иосиф принял очень серьезно. Спустя некоторое время он читал мне отрывки куда более сильные и самостоятельные: гипноз Саши Черного проходил, Уткин становился самим собой.

Многих удивляло, почему Мотэле кишиневец, а не сибиряк, ведь автор иркутянин. Дело в том, что первоначально Мотэле не был ни кишиневцем, ни сибиряком, был Мотэле вообще. Когда Уткин принял упрек в подражательности Саше Черному, тогда же разговор коснулся того, что надо бы герою дать адрес поточней, «привязать его к местности». Впрочем, и сам Иосиф размышлял над этим, но долго не знал, куда поселить Мотэле. В Сибирь? Но сибирские евреи почти лишены черт, присущих персонажам Саши Черного, от которого пока еще отойти окончательно не удавалось — по крайней мере в описании обстановки.

— От интонаций Саши Черного, верно, лучше бы освободиться, а вот рыжего Мотэле придется все-таки отправить в черту оседлости, там ему будет уютней, да и окружение будет естественней.

Период рождения «Повести» представляется мне периодом для Иосифа переходным, переломным: в это время, на этом этапе юноша-подросток становился взрослым человеком, переходил в иное качество.

Большинство илховцев, членов Иркутского литературно-художественного объединения (ИЛХО), которое мы создали, относились к Вертинскому и Игорю Северянину отрицательно, даже враждебно. И вдруг Иосиф в нашей среде обронул однажды:

— Любим мы, други, с маху дегтем мазать, перечеркивать имена и все, что этими именами подписано... Вот и Вертинский да Северянин — ручаться могу, что к ним еще будут возвращаться и изучать, находить в них то, мимо чего мы теперь проходим с презрением.

Как бомба разорвалась. Оригинальничанье, говорили одни; близорукость и политическая незрелость,

пробовали разъяснить другие. Многие же услышали в словах Иосифа призыв к более самостоятельному мышлению и призадумались, насколько правильно и справедливо принимать на веру, не размышляя и не критикуя, ходячие схемы и прописи. Не каждый мог вот так резко по тем временам поставить очень острый вопрос, а подобное случалось не раз и не два. Смелость? Не только: еще готовность отстаивать свое мнение, защищать свои убеждения...

...Была в Иркутске любопытная организация — Дискуссионный клуб профработников, призванный будить живую мысль, ломать хребет казенщине, искать новые формы деятельности профсоюзов. Привлекли к работе клуба и Двух Аяксов: в программу каждого заседания или собрания включались фельетоны на текущие острые темы. Мы их читали вслух, и, право, жаль, что не отыскать теперь их следов. Но я помню, что в одном фельетоне высмеивались опытные и знающие деятели, не могущие тем не менее выступать без шпаргалки; в другом — приводился список «внутренних врагов»: многословие, ханжество, очереди, отсутствие нужных работников на месте ко времени и т. д. Темы были разные, в том числе и не испарившиеся до сих пор. Где-нибудь в Иркутске, вероятно, сохранилась групповая фотография всего большого состава Дискуссионного клуба, на которой в первом ряду — очень молодые Аяксы. Это было время их творчества в действии...

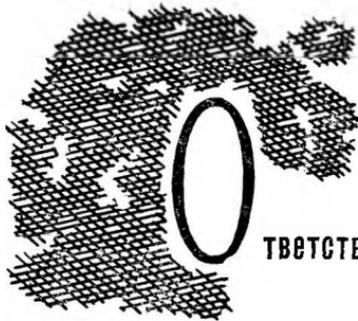
...Верно, молодости всегда сопутствует песня. Где бы мы ни были вдвоем — ехали ли в командировку, гуляли ли вдоль Ангары, уезжали ли за город, — всегда пели мы наши комсомольские песни, прежде всего «Мы кузнецы». Однажды я сказал Иосифу, что непло-

хо было бы собственную песню написать, на что он ответил:

— Конечно, новая песня нужна, и тот, кто пишет стихи, обязательно должен и песню сложить, но у меня что-то не получается. Видимо, не каждому дано. Есть старые песни, которые и сейчас хорошо поются, а иные новые песни — могло бы и не быть их. В песне должен жить сюжет, рассказ. Русская песня имеет свои традиции, их нельзя обходить. В русской песне всегда было содержание, разные трюляля не идут ей. А сибиряки свои песни поют душевно, тихо, вполголоса, не орут, — значит, и слова должны подходящие быть. Я о песне много думаю; может, когда и напишу — не знаю. Плохо написать — стыдно, хорошо — пока не получается. Да и, кажется, у меня скорей романс получится, чем песня.

— И это нужно, хороший новый романс.

— Все нужно, Том, многое нужно, а вот успеем ли все, что хотим, что задумали?..



ответственный секретарь редакции

В начале двадцатых годов мне посчастливилось встретиться с одним из замечательных наших комсомольских поэтов — с Иосифом Уткиным. Я знал его в ту пору, когда он только начинал свой литературный путь, когда он еще был больше журналистом, чем поэтом. Я помню его темпераментным, инициативным, энергичным газетчиком — настоящим, пламенным комсомольским публицистом. Речь идет о работе Иосифа Уткина в «Комсомолии», молодежной газете Иркутска.

В то время я был членом президиума Иркутского губкома комсомола, заведовал агитпропотделом. Мне не раз приходилось встречаться с Иосифом Уткиным на общегородских комсомольских собраниях, торжественных вечерах, диспутах, на демонстрациях и парадах. Мне импонировала его фигура, его внешность — высокий, стройный, с густой шевелюрой темноватых волос, в небрежно наброшенной на плечи красноармейской шинели...

Иосиф Уткин нередко выступал на комсомольских собраниях с зажигательными речами, любил брать слово по поводу выступления того или иного оратора:

всегда у него имелась дельная мысль или интересное предложение. Свои вдохновенные речи Иосиф Уткин обильно насыщал стихами: читал Демьяна Бедного, Маяковского, Блока — в нем сказывался поэт, уже успевший написать и опубликовать несколько стихотворений в нашей иркутской газете «Власть труда», в которой он был репортером. Читая стихи революционных поэтов, Иосиф Уткин своеобразно комментировал их — призывал комсомольцев к бдительности, стойкости, бескомпромиссной борьбе с врагами.

Ранней весной 1924 года я как-то поделился с ним своими соображениями о возможности издания молодежной газеты (эта мысль уже давно вынашивалась в губкоме комсомола). Иосиф Уткин энергично поддерживал нашу инициативу и предложил использовать его скромный опыт работы во «Власти труда». Поэтому, когда решение об издании газеты было принято, его ввели в состав редколлегии ответственным секретарем.

7 июня 1924 года вышел первый номер «Комсомоли», подписанный Иосифом Уткиным. Название газеты было предложено им. Я был назначен редактором газеты.

С присущими ему настойчивостью, энергией и инициативой приступил Иосиф Уткин к работе. Кроме нас, в штате редакции был еще один технический сотрудник. Три человека, мы должны были еженедельно выпускать четырехполосную газету современного формата. Это было очень трудным делом, и мы сразу же решили основной упор в своей работе сделать на актив газеты, на помощь комсомольцев, юнкоров.

Ответственный секретарь редакции был неутомим: его можно было встретить и на кожевенном заводе, и

в главных железнодорожных мастерских, и на лесопилке, и на мельнице — Иосиф Уткин сколачивал актив газеты, вел беседы о том, как надо писать, давал советы и консультации. Не было случая, чтобы наши активисты подвели нас, и газета всегда выходила регулярно, в срок.

Качества пытливого журналиста Иосиф Уткин проявил уже при подготовке первого номера «Комсомолии». Он разработал план этого номера и доложил его на заседании редколлегии. Каждое предложение Уткина было всесторонне обосновано, особенно настаивал он на подробном отражении комсомольской жизни. Предложенные им отделы, рубрики и подборки — «Мировой комсомол», «Молодая деревня», «Фабзауч», «У станка» — сделались постоянными. Мы старались широко применять и использовать различные газетные жанры: заметки, письма, корреспонденции, зарисовки, печатали рассказы и очерки, поощряли публикацию фельетонов и стихов.

Газета получалась живой, интересной, разнообразной по тематике, и в этом большая заслуга Иосифа Уткина. Он обращал особое внимание на привлечение к работе газеты комсомольского актива, секретарей ячеек, членов укомов и райкомов. Все они не раз выступали у нас как авторы. Секрета из такого направления газеты мы не делали. Больше того, в написанном Иосифом Уткиным обращении «От редакции», которым открывался первый номер «Комсомолии», прямо говорилось:

«Главные условия для успешности газеты — больше мнений, больше отражений, а это значит, что каждая ячейка, каждый комсомолец — сотрудник газеты.

«Комсомолия» должна быть действительно иркут-

ской комсомолией, отражающей и регулирующей ее жизнь.

Это необходимо во имя интересов нашего комсомола — так это и должно быть.

Рассказывайте, спрашивайте, указывайте».

Иосиф Уткин привлек в газету молодых поэтов — Ивана Молчанова-Сибирского и Джека Алтаузена. Мы с гордостью можем говорить о том, что они — питомцы иркутской «Комсомолии»: стихи молодых поэтов часто появлялись на страницах нашей газеты. А к ним тянулись всё новые и новые ребята, пробующие силы в поэзии. Уткин любил и уважал свою поэтическую братию и требовал от нас комсомольских работников, не очень-то разбиравшихся в поэзии, а подчас и недооценивавших ее, уважать и поддерживать этот вид литературы, остро необходимый и журналистике. Уткин пробуждал у комсомольцев интерес к поэзии, к творчеству, к литературе, приобщая их таким образом к строительству новой, советской культуры.

Надо отметить исключительную внимательность Иосифа Уткина к юнкорам; она проявлялась как в личных беседах, инструктаже, советах и консультациях, так и в ответах на письма всех, кто пробовал писать в газету. Иногда ответы публиковались и в «Почтовом ящике» газеты. Автором многих из них был Уткин. Например:

«Веретину. Стихотворение «В корзине» не пойдет. Ну его... в корзину... Начинай-ка, парень, с заметок».

«Гошке Ленскому. Пиши, братишка, почаще».

«Красному куму. Хоть ты и кум, да еще к тому и красный, все же чепухой заниматься надо бросить».

«Ф. К. Твое стихотворение «Набат» не пойдет.

Ты пишешь: «Заплевались свирепо глаза...» Глаза и вдруг плевать начали. Непонятно что-то!»

«Юнкору П. М. Нельзя, брат, так писать. Сухота такая, что пока читали, язык к горлу присох. Не пиши длинные и скучные резолюции: такую-то работу признали удовлетворительной, а такую-то — нет. Давай поинтересней что-нибудь».

Беседуя с юнкорами и встречаясь с ними на редакционных совещаниях, я видел, что ребята не обижались на такие ответы редакции, напротив, прислушивались к строгой критике и старались лучше писать свои заметки.

Не могу простить себе невнимательности к выступлениям Иосифа Уткина в «Комсомолии» как поэта. В сутолоке редакционной жизни, когда все внимание уходило на подготовку очередного номера и организацию материалов, на вычитку, корректуру и верстку, я как-то проглядел эту сторону деятельности Иосифа Уткина в газете. Он интересовал нас прежде всего как функционер, от которого зависел своевременный выход «Комсомолии».

Я не назову сейчас все стихи Уткина, опубликованные в нашей газете, не помню (некоторые номера газеты за 1924 год не сохранились, и разыскать их не удалось), но хорошо запомнил вызвавшее всеобщий восторг его стихотворение, посвященное революционным трудящимся Мадрида, отважно сражающимся против фашистской диктатуры генерала Прима-де-Ривера. Оно было опубликовано на первой полосе одного из первых номеров «Комсомолии». Работники нашего губкома, прочитав это стихотворение Уткина, удовлетворенно потирали руки и говорили: «Ну, вот и у нас появился настоящий поэт!»

Иосифа Уткина еще больше начали ценить и уважать. И когда из Москвы пришла путевка в Коммунистический институт журналистики, мы единодушно решили послать учиться в Москву Уткина: он был достоин представлять комсомольскую прессу в первом и единственном журналистском вузе страны.

В Москве и состоялась наша новая встреча — ровно через десять лет, когда я был переведен на работу в ЦК партии. Мы долго вспоминали нашу родину, Сибирь, Иркутск и наших товарищей-комсомольцев. Иосиф Уткин вспомнил тогда, как мы иронизировали по поводу его пристрастия к поэтическому творчеству. Да, мы ценили его прежде всего как газетчика, считая, что для комсомольского работника поэзия — не главное дело, не решающее. Теперь приходилось признать, что мы ошибались, и лучшее подтверждение тому — известность и популярность Иосифа Уткина, замечательного комсомольского поэта.

В Москве мы встречались все реже и реже, но я всегда следил за его успехами и гордился тем, что иркутский комсомол дал нашей родине такого прекрасного поэта, занимающего видное место в советской литературе.



Из прекрасного иркутского моего далека — начала двадцатых годов — возникает образ Иосифа Уткина.

Грозное, святое было время! Великое время, полное лишений, жертв во имя светлого Грядущего, которое тогда писалось с большой буквы. Газета «Власть труда», орган Иркутского губкома партии, издавалась чуть ли не на оберточной шершаво-грубой, как солдатское сукно, бумаге, но слова на ней печатались *огненные, пламенные!* Они и сейчас внушают священный трепет.

Редактором газеты был молодой, но с большим партийным стажем журналист и герой гражданской войны в Сибири Георгий Александрович Ржанов. Он-то и был создателем, вдохновителем и вожаком Иркутского литературно-художественного объединения (ИЛХО, отчего членов его называли «илховцами») — первой советской писательской организации, возникшей в Восточной Сибири осенью 1922 года при газете «Власть труда». Там и довелось мне впервые встретить Иосифа Уткина, чтобы потом долгие годы пройти рядом с ним путями жизни и поэзии.

Точно помню, как и когда впервые увидел его... В большом редакционном зале газеты «Власть труда»,

уже густо заполненном людьми, шло заседание иркутских литераторов. Кто-то нараспев читал свои стихи, разгорались оживленные споры. И вот открывается дверь — в зал входит высокий, стройный, гибкий юноша с пышной шапкой великолепных темных волос, а бы сказал — бурей волос. Юноша был красив; он сразу обратил на себя всеобщее внимание зала, — при всем многолюдье и тесноте. Это и был Иосиф Уткин, иркутский комсомолец...

Прежде чем мы — юные поэты (Иосиф Уткин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов-Сибирский, Валерий Друзин и аз многогрешный, пишущий эти строки) — стали илховцами, мы прошли немалую литературную выучку в своем содружестве, стихийно возникшем. Мы подспудно постигали трудное мастерство словотворчества, сосали свой нектар, как и пчелы, из каждого цветка, порой и ядовитого, тлетворного...

Вся наша пятерка юных поэтов-илховцев ходила на поклон и выучку к интеллигентам старой закваски и многим — очень многим! — обязана профессорам Иркутского государственного университета (Иргосуна), особенно Марку Константиновичу Азадовскому и Льву Георгиевичу Михалковичу. Они способствовали увлечению Иосифа Уткина стихами Федора Тютчева и Александра Блока, и этому увлечению он уже не изменял до конца дней своих. В московской квартире Иосифа я видел сборники Ф. Тютчева и Е. Баратынского, которые он еще с иркутских времен исчеркал восторженными, но и вдумчивыми замечаниями на полях, поражавшими меня своей целеустремленностью.

— Понимаешь, — говорил мне тогда Иосиф, озабоченно встряхивая роскошной копной волос, — эти ученые мужи, конечно, интеллигенты дореволюционного

закала, а мы для них — митрофанушки, недоросли, невежды; одним словом — комсомольцы. Но они все же не чураются нас: вот, приоткрыли нам завесу над русской литературой, и за это — великое им спасибо. Что я знал до встречи с ними? — недоучка, выгнанный из высше-начального училища... А теперь, — он похлопал по томикам Тютчева и Баратынского, — я не расстаюсь с новыми друзьями.. Шел Хлебным базаром и по дешевке купил на развале у какого-то пропойцы. Завтра он мне принесет стихи Фета, я уже сторговался.. А открыли мне глаза на этих поэтов Азадовский и Михалкович! Они и приучили благоговеино относиться к поэзии, как к святыне... Эх, побольше бы таких мудрых советчиков!..

Иосиф Уткин, как и все мы, упорно и всюду искал литературных наставников, чтобы с их помощью постигать законы управления словом. Этому помогло и наше общение (а не сближение!) с сиркутской «Баркой поэтов», куда — на правах гостя, ученика-подмастерья — стал вхож и Иосиф Уткин. Это было пестрое содружество писателей, первое время устраивавших свои литературные бдения у поэта Анчарова (Артура Куле), а он жил в каюте одной из барок, стоявших на приколе у ангарской пристани наискосок от легендарного Белого Дома — бывшего генерал-губернаторского дворца.

Припоминаю Иосифа Уткина, не только переступавшего порог «Барки поэтов», но и навецавшего иногда квартиры виднейших представителей этого литературного содружества. Он приходил к ним в долгополой кавалерийской шинели, щеголяя натянутыми выше колен якутскими — с перетяжкой — оленьими кáмосами, очень живописно расшитыми меховым узором, разноцветным стеклянным бисером (король-

ками), в блузе, напоминавшей футуристическую кофту. Несмотря на природную красоту и байроническую осанку, он все же казался иркутским «аристократам», каковыми не прочь были мнить себя члены «Барки поэтов», типичным плебеем, почувствовавшим, однако, вкус к изящной жизни. Александр Мейсельман, сын иркутского состоятельного чиновника царских времен, в общем-то один из добровольных опекунов Уткина, — розовощекий, хорошо упитанный, благовоспитанный, — принимая у себя Иосифа и меня, потом, благодушно посмеиваясь, говорил про нас в кругу «Барки»: «Они все хорошие парни — эти илховцы, но от них сильно отдает либо квасом и кислой капустой, либо чесноком!»

А Иосиф Уткин после таких посещений не менее добродушно посмеивался: «Однако, каким же сосунком выглядит в наше голодное время этот Александр Мейсельман! Вот барич-то! Эстет суций, до мозга костей. Он до революции, юношей еще, от имени иркутской интеллигенции подносил букет Бальмонту. В общем-то у него доброе сердце, хотя снисходительность — этакая барская, свысока, с похлопыванием по плечу...»

В кругу этой романтически звучащей «Барки поэтов» господствовала мешанина всех модных литературных веяний и школ того времени: и акмеизм, и имажинизм, и эго-футуризм — все это вывезенное из столиц напрокат и плохо переваренное. Но они — пусть на свой лад — тоже были нашими просветителями: они учили нас профессиональному овладению основами «стихов российских механизма» (Пушкин). Они приобщали нас к таким утонченным формам стихосложения, как сонеты и триолеты, секстины и терцины, простое рондо и сложное, газели и октавы... Это опытное знание основ и природы стиха, эта настоящая литера-

турная студия, которую мы прошли в Иркутске, пригодилась нам потом на всю жизнь. Уже в Москве, вспоминая родной Иркутск, мы отдавали дань почтительно-го уважения нашим покровителям. Нет-нет да и скажем, бывало: «Спасибо и этим учителям, хотя по взглядам они были очень далеки от народа и от революции!» И частенько произносил эти «крамольные» слова признанный комсомольский поэт Иосиф Уткин! А идейную шаткость «Барки поэтов» мы отбросили от себя, как шелуху...

У меня уцелела и бережно хранится реликвия тех лет — «Программный Устав поэтического кружка», собственноручно мною написанный узорчатой славянской «курописью» 19 августа 1922 года. Наш «Устав» был местами забавен, детски наивен, кое-где его параграфы напоминали строгие кабалистические заклинания масонских тайных лож. Однако уже в нем страстно прорывалось наше стремление служить поэтическим словом революции и народу. Мы еще только мечтали о своем литературном органе, но действительность вскоре превзошла все наши чаяния: Г. А. Ржанов включил нашу пятерку в штат редакции.

Мы собирались в здании педагогического факультета Иркутского государственного университета, потом в редакции газеты. Но иногда — и нередко! — приглашал нас к себе проводить наши литературные застолья Иосиф Уткин. Он жил за Хлебным базаром, в многолюдной семье, полной сестер. Он любил романтически «обрамлять» свою небогатую комнатенку в тесной квартире. Комната была всегда нарочито полутемной — и у меня на всю жизнь создалось впечатление, что она не имела окон (может, это и не так!). Над старым внушительным диваном висело подобие восточного

узорчатого ковра, на пестром поле которого устроились крест-накрест кинжал в ножнах и еще какое-то грозное оружие, «как у Лермонтова» — любимейшего поэта Иосифа Уткина (чуть меньше он был увлечен Алексеем Толстым, Федором Тютчевым, Александром Блоком). А напротив дивана — совершенно точно помню — на стене красовалась в багетной раме какая-то непомерно обнаженная одалиска.

А за стенами этой поэтической кельи восхищенно прислушивались к нам младшие сестры Иосифа — Гутя (Августа) и Ина (Павлина); когда мы приходили к Иосифу, они встречали нас радостными приветствиями, вскидывали темноволосыми головками, обдавали нас взглядом черных горящих глаз, в которых было столько же любопытства, сколько и преклонения — пришли «живые поэты»! А хлопотуньей по дому, неизменно нас тепло привечавшей и угощавшей, глубоко и воодушевленно верившей в наше поэтическое будущее, была мать Иосифа — Раиса Абрамовна, женщина умная, достаточно грамотная, революционно настроенная, поощрявшая наши литературные опыты. Она обожала своего единственного сына (старший брат Иосифа — участник гражданской войны — был расстрелян белыми где-то в нагорьях Саян)...

В иркутскую свою пору Иосиф еще складывался как поэт. Весь был в поисках, как и все мы, илховцы. Но уже тогда сказалось его высокое отношение к поэзии. «Хорошему человеку и поэту, — написал он мне на нашем первом коллективном сборнике стихов «Май». — Пожелаю также и в даях, как и сейчас, любить поэзию, любить звуки. Что может быть прекраснее поэзии! Что может быть лучше человека, любящего поэзию. Малым начали, многим кончите!

(Тогда мы еще были на «вы». — М. С.) — Иосиф Уткин. — 3 мая 1923». В этих словах, пусть немного юношески восторженно-наивных, уже и тогда сказывался поэт Иосиф Уткин, безгранично влюбленный в поэзию и пожизненно обрученный с нею.

Да, в Иркутске мы создали прекрасное литературное содружество — и едва ли не самой яркой фигурой его был он — Иосиф Уткин. То было святое время для нас! Мы писали, не думая, что о нас скажут в столицах, — столицы были далеко, хотя мы скоро в них потянулись, как бабочки на огонь; мы писали бескорыстно, только еще мечтали о широкой славе (к Иосифу Уткину она потом быстро и шумно пришла!), писали ради самой страсти, охватившей нас, юношески чисто, пусть незрело, но целомудренно, — и лучшей радости и награды не было, чем заслужить одобрение в своем кругу.

Став илховцами, мы почувствовали за собой большую общественную опору и помощь — идейную и материальную — со стороны партийных и государственных организаций, и прежде всего «Власти труда». В газете мы обрели прилив новых сил и нашли арену, где их можно было приложить. Мы были не только поэтами, не только печатали стихи, но и штатными сотрудниками на разных должностях. Так, я был одно время и репортером и экспедитором; Джек Алтаузен — энергичным сборщиком объявлений; Иосиф же, прежде чем стать репортером, был финагентом, и я помню, как декабрьским днем, в военной долгополой шинели, — был «клящий» мороз, деревья и телеграфные провода опущены куржаком — густым мохнатым инеем, — он шел по Большой улице, печатывая киоски нэпманов за нарушение законов о налогах...

Первое публичное выступление ИЛХО состоялось 25 марта 1923 года в клубе Иркутского губкома РКП(б). Общественность проявила большой интерес к вечеру молодых пролетарских поэтов — так мы уже именовались, и зал клуба был битком набит. Больше всего собралось студенчества. Мы принимали первый бой. И мы этот бой выдержали, устояли. Тогда же Иосиф Уткин сказал, что надо чаще выступать перед народом. И это свое обещание — «чаще выступать перед народом» — он и в Москве и в разъездах по стране блистательно, с успехом выполнял. Он и прекрасно читал свои стихи, и умел при этом живо, остроумно поговорить с народом.

Большим праздником и подлинным литературным событием, не только для нас, илховцев, но и для всей советской общественности Иркутска и Восточной Сибири, стало издание литературно-художественного, научно-популярного и общественно-политического ежемесячника «Красные зори». Вышло всего пять номеров (одна из книг журнала была вдвоенная), теперь ставших редкостью. Там были напечатаны стихи Иосифа Уткина той поры, когда мы уже набирали силу и поэтический разбег: «Красноармеец», «Мать», «Микула»; в сборнике «Май» — «Богатырь» и опять «Микула», являющиеся данью увлечению былинными стихами Алексея Толстого. Листаешь «Красные зори» и чувствуешь, что даже сегодня читается журнал с волнением, еще и удвоенным, потому что он приобрел уже историческое значение, как возникший на заре становления советской власти в Восточной Сибири.

В феврале 1924 года наше ИЛХО выпустило траурную книжечку стихов «Ильичу»; поэты-иркутяне первыми в стране среди писателей откликнулись на

смерть вождя коллективным сборником. Жизнеутверждающим началом проникнуто стихотворение Иосифа Уткина «21 января 1924 года». Оно было наиболее совершенным среди стихотворений других илховцев. «Сборник иркутян не песчинка, а краеугольный камень,— писал в «Сибирских огнях» Вивиан Итин, высоко оценивший труд илховцев.— Это *первый* художественный сборник об Ильиче. Стихи говорят сами за себя. Они свежи и гулки, как комсомольское сердце...»

В нашей скромной книжечке об Ильиче стихи Иосифа Уткина заняли заметное и почетное место. Но эта книга была своего рода лебединой песней илховцев первого призыва; в том же году мы поразъехались в разные стороны. В августе 1924 года я приехал в Москву, а через месяц — Иосиф Уткин, где его вскоре же приветила подлинная слава. Из Иркутска он привез «Повесть о рыжем Мотэле», о которой А. В. Луначарский сказал в «Правде»: «Повесть...» Уткина — один из шедевров нашей молодой поэзии». Началась наша московская пора жизни. Мы стали москвичами, если можно так сказать, крепкой сибирской закваски. Иосиф в том же году еще успел съездить в Иркутск, где закончил «Повесть о рыжем Мотэле».

Иркутск и Сибирь нашли если не прямое, то косвенное отражение в поэзии Иосифа Уткина. Действие знаменитой «Повести о рыжем Мотэле» перенесено в дореволюционный и послереволюционный Кишинев. А между тем в пору создания поэмы Иосиф Уткин никогда не бывал и не жил там. Мне, коренному иркутянину, близко знавшему Иосифа Уткина, позволительно утверждать: в поэме отчетливо угадывается родной Иосифу Иркутск, именно та часть города, что

расположена за тогдашним Хлебным базаром в сторону Байкала, где была синагога и гнезилось довольно густое еврейское население, не совсем похожее на местечковое украинское и белорусское, сильно осибиряченное, даже и в говоре, но и не совсем утратившее свои национальные особенности. Здесь и почерпнул Иосиф Уткин материал для своей «первенствующей» поэмы. Однако поэтическое чутье подсказало ему правильную мысль перенести действие поэмы в Кишинев. Он сумел переплавить иркутские впечатления с преданиями о местечковом укладе и тем самым создал поэму обобщенного, а не местного значения. Но Иркутск дал все, что нужно было для «Повести о рыжем Мотэле».

Зато в другой поэме, «Милое детство», а также во многих стихотворениях тридцатых годов, в том числе и в цикле «Сибирские песни», он прямо называет и упоминает в них свой родной Иркутск со всеми тогдашними приметами его уклада, опять-таки свойственными кварталам за Хлебным базаром, поближе к речке Ушаковке и Иерусалимской горе. Сибирь сказала и в его небольшой, замечательной по самобытности, по художественной силе поэме «Якуты», посвященной Г. Ржанову.

В Иркутске я дружил больше с Иваном Молчановым-Сибирским и с Джеком Алтаузенем. Но в Москве, начиная с 1931 года, я очень сблизился, сошелся во взглядах и во многих литературных вкусах именно с Иосифом — и так уж до конца его дней. Он был самобытен, ни в чем не похож на других и в личной жизни, и в литературном своем бытии. И тем-то он был привлекателен, хотя кого-то и задевало его повышенное самосознание, принимаемое порой за высо-

комерие. Сойдясь и подружась с ним ближе, я мог явственно узнать, что за этой горделивой байронической осанкой на самом-то деле скрывался очень простой, душевный парень, очень общительный, деловой, любивший шутку, отзывчивый, но когда надо, то и воинственный, даже величавый, и в то же время склонный к верной и неизменной дружбе. Я вошел в круг его семьи и был там завсегдаем, даже поверенным сокровенных его дум и чаяний. Вся его тогдашняя жизнь, со всеми ее колебаниями и переливами, прошла передо мною; он впускал меня даже в самые потаенные уголки своей личной жизни.

Дружба с Иосифом Уткиным была спасительной для меня. Она во многом способствовала моему возвращению к поэзии.

Я нашел в Иосифе не только вдохновителя, призывавшего меня не изменять поэзии и говорившего: «Наше дело с тобой, Михаил, писать и писать!» Он прямо и практически поощрял и направлял мою работу над поэмой «Сибирская родословная»; он был первым из поэтов, которому я читал ее, и он неизменно видел в ней доброе зерно; по существу, я должен был посвятить ее Уткину. Мало того, возглавляя отдел поэзии в Государственном издательстве художественной литературы, он твердо настоял на издании моей первой книги стихов «Сибирская родословная», редактором которой стал сам. Он был моей душевной опорой и много сделал для меня добра. Общение с ним возвращало меня к стихам. Мы оба постоянно жили поэзией, читали друг другу и свои стихи, и стихи друзей и классиков; делились своими замыслами.

Мы стали единомышленниками, побратимами по сокровенным чувствам и думам. А дум было много!

Тридцатые годы были полны великих дел и свершений, страна, разбуженная и преображенная ленинскими идеями Великого Октября, крепчала и мужала. Но в ту пору зловещий призрак нарождавшегося в Германии фашизма отбрасывал свою черную тень и на нашу страну. Помню, мы много говорили о том с Иосифом, когда часто бродили с ним ночами по Москве. Он написал стихотворение «На прогулке», посвященное мне, которое я начисто забыл, пока недавно исследователь творчества Иосифа Уткина и его биограф Давид Фикс не принес его мне. Оно не опубликовано до сих пор полностью, и я считаю себя вправе привести его.

НА ПРОГУЛКЕ

М. Скуратову

Веткой хвойного мороза
Ветер хлещет по лицу.
Не советуют мне поздно
Одному гулять в лесу.

Но волков и топот конский,
Русских ужасов мороз
Я, как детские знакомства,
Позабыл и перерос.

На меня не хищник лютый
Нагоняет лютый страх.
И не волчий мех. А люди
В меховых воротниках.

И — да много ль надо волку?
Волку только покажи
Не винтовку, а двустволку,—
И пойдет он вдоль межи,

Будто нищий, озираясь,
Шкуру серую спасать.

Нет, не волк, а серый заяц —
Вот ты с кем, попробуй, сладь!

Не в лесу, не в снежном поле,
А в глуби своих мерзлот,
А в груди, где, как в подполье,
Заяц душу нам грызет.

Тогда, во время наших вечерних прогулок, мы все чаще возвращались памятью к нашему сибирскому житью-бытью.

— Ты понимаешь, — говаривал он, — теперь, на отдалении, жизнь в Иркутске, ты замечаешь, кажется нам с тобой залитой ярким сибирским солнцем, какого ведь не увидишь в Москве... Тогда мы быстро созревали как поэты. Мы были даже больше в душе поэты, чем позже в Москве! Я тебе так не для хлесткого словца говорю. У нас было хорошее начало, была незавершенность; но была и неустанная поэтическая работа, была школа, были заложены основы овладения поэтическим словом... И знаешь, что самое дорогое? Юношеское ощущение истинной поэзии, бескорыстное слияние с нею. Мы тогда инстинктивно встали на правильный путь литературного развития, вполне на уровне и в духе времени... Как жаль, что знамя, подхваченное нами тогда, мы не всегда проносили свято через нашу жизнь, хотя мы и стали писателями-профессионалами. Как это впоследствии выхолащивало наши души! — огорчался он.

Да, тут Иосиф был прав, хотя некоторые из нас — и он в первую голову — в столице достигли литературной известности, а он — и всенародной. Он рано выработал в себе самые высокие понятия о красоте, о поэзии, строго требовал от других такого же благоговейного отношения к ним. Как-то, бродя с ним по набереж-

ным Москвы-реки, я порадовался вслух, что вот скоро выйдет моя первая книжка стихов. Он сердито сказал:

— Михаил! Как ты можешь так пренебрежительно говорить о сборнике своих стихов? Ты издаешь не что-нибудь, не какую-то там книжку, а книгу своих стихов, как бы она ни была мала по объему. Книгу, а не книжку!..

До сегодня не оценена работа Иосифа Уткина по собиранию тогдашних молодых поэтических сил. В середине двадцатых годов, вскоре после своего переселения в Москву и стремительного взлета на вершины поэзии и славы, он создал «Литературную страницу» в самой большой молодежной газете — «Комсомольской правде». При нем она достигла расцвета, и через нее прошли, при его редакторском содействии, почти все наиболее значительные поэты двадцатых годов — тогда еще совсем юные, теперь широко известные. В «Литературной странице» Иосиф Уткин первый напечатал главы из «Тихого Дона» Михаила Шолохова, еще только начинавшего выходить на столбовую дорогу большой литературы... Словом, «Литературная страница» была прибежищем, притягательным маяком для молодых литературных сил, равно и для маститых писателей, чему немало способствовали общительный, счастливый нрав и большая деловитость Иосифа Уткина. Комната «Комсомольской правды», где ютился литературный отдел, стала своего рода молодежным писательским клубом. Одни беседы с Владимиром Маяковским, ласково называвшим Иосифа «Уточкинским», чего стоили! И сам Иосиф Уткин был умным и остроумным собеседником, умевшим объединять вокруг себя и «Литературной страницы» живые силы молодой советской поэзии

тех лет. Многие из ныне прославленных поэтов должны быть благодарны за это Иосифу Уткину!

Эту свою работу собирателя и союзника многих поэтических голосов нашей страны он продолжал и позже, когда возглавлял отдел поэзии в Государственном издательстве художественной литературы. Надо добром помянуть эту сторону плодотворной деятельности Иосифа Уткина. Не одно поколение молодых поэтов было поддержано им при первых шагах своих и потому любило его. И притом, возглавляя литературные отделы, он был таков, что за ним и тени не было чиновничества, черствости, высокомерного похлопывания по плечу, он был каждому поэту товарищ и друг, его кабинет превращался в желанное место для встреч поэтов, где непринужденно читались и обсуждались стихи, не умолкали шутки и смех, в чем он тоже был первый и неистощимый зачинщик. «Человек он был», — сказал бы я о нем словами Шекспира. Он был своеобразен и в дружбе, и в любви, и в домашнем быту. Можно вскользь упомянуть, что он был заядлый спортсмен, еще с иркутской поры: любил лыжные, конькобежные состязания, сам отлично ходил на лыжах, бегал на коньках и славился как бильярдный игрок, тоже еще с иркутской поры — там он одно время был бильярдным маркером. Дождь не дождь, мороз не мороз, а он не пропускал боевых спортивных ристалищ на московских стадионах и обязательно тянул туда за собой целую стайку друзей.

У него было повышенное чувство своего поэтического и человеческого достоинства; он отстаивал его яростно и умело; кое-кому это казалось фанаберией. Вот один случай...

В Московском клубе литераторов было многолюдное

торжество: зал ломился — писатели чествовали знаменитых женщин-пилотов, совершивших беспрецедентный для той поры беспосадочный полет до берегов Тихого океана: Полину Осипенко, Марину Раскову и Валентину Гризодубову. Героические женщины пришли в гости к московским писателям. Марина Раскова посетовала на отставание нашей художественной литературы от жизни, полной трудового народного героизма, тем не менее московские писатели были словно одержимы: они тянулись к Марине Расковой с блокнотами, записными книжками, через головы друзей, и умоляли ее начертать свое славное имя; некоторые подсовывали папиросные коробки. Иосиф сидел в глубине готического зала около камина, где празднично пылали березовые поленья, и не проявлял даже признаков ажиотажа...

— Иосиф, а почему ты не подойдешь к Марине Расковой и не попросишь ее дать тебе автограф?

— Михаил, — пожал он плечами, — я чту Марину Раскову, и мне по душе ее подвиг. Но зачем эта суетность души, какую я сейчас вижу у моих братьев...

...За несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны он приехал с фронта и побыл недолго у себя дома, в Москве. Он ходил тогда в военной офицерской форме, как многие писатели. Мы опять почти каждый день встречались с ним. В солнечный погожий день мы прогулялись в Александровский сад у Кремля; прошли мимо Боровицких ворот, полюбовались Манежем и старинной громадой Московского университета — созданием славных зодчих Казакова и Жиллярди; поговорили о том — он любил все красивое. Затем присели у краснокирпичных кремлевских стен.

— Знаешь,— задумчиво сказал он,— война идет явно на убыль, с уже очевидным нашим перевесом. Фашизм подыхает; еще несколько ударов, и мы доконаем его... Так хочется засесть за письменный стол — я полон замыслами, которыми меня начинила война. Ох, брат, так много надо высказать и про нее, и не про нее!.. Руки зудят... Вот еще последний раз съезжу на фронт, вернусь — и за работу! Примусь за поэмы, за новый круг лирических стихов; они прямо колотятся в мою грудь, просятся наружу... Командование Третьего Украинского фронта подарило мне трофейную легковую машину — будем с тобой кататься по Москве, за город... (Машина пришла в адрес Иосифа через две недели после его гибели! — М. С.)

Это была наша последняя совместная прогулка. Он уехал на 3-й Украинский фронт, в Румынию, — действительно в последний раз...

Помню, был промозглый ноябрьский день 1944 года. Вся Москва окуталась небывалым каким-то мглистым туманом, и уже в четыре часа дня были настоящие вечерние сумерки. Я пришел в клуб писателей. Дежурная окликнула меня:

— Товарищ Скуратов, сегодня ваш друг поэт Иосиф Уткин погиб под Москвой на аэродроме. Только что сообщили...

У меня померкло в глазах, так же как померкло в тот день на улицах Москвы еще среди бела дня.

Через несколько дней мы хоронили Иосифа. Он лежал в гробу, установленном в старинном здании на улице Воровского — там, где Правление Союза писателей. Замкнулись его уста, над гробом негромко и печально пел Иван Козловский...

Вот дословная запись из дневника, сделанная мною на другой день после похорон:

«17 ноября 1944 г.

Вчера похоронили Иосифа Уткина. Его смерть и заставила меня вернуться к дневникам, которые я было уже забросил...

Для меня Уткин — это моя юность, Иркутск, прогулки по Москве, постепенное сближение с человеком, так непохожим на меня. Меня с ним связывали долгие годы близких отношений, которые можно принять за дружбу. Он меня понимал; я его. Мы были откровенны друг с другом. Нас объединяло наше сибирское происхождение, одна родина, один и тот же город, первые литературные шаги... Он и Джек Алтаузен. Оба как-никак мои земляки, иркутяне, друзья молодости. Было между нами все — и ссоры, и неприязнь, и трогательное единение. Но до конца дней мы были близки... Ближе их в Москве у меня почти не было и нет людей. С уходом Уткина я даже почувствовал себя осиротевшим. Это печально. Я теперь совсем одинок; не с кем будет перекинуться откровенным, подчас гневным словом; не знаю, будут ли еще у меня дружбы; мне не везет на них. Оглядываясь назад, не видя около себя ни Уткина, ни Джека, я могу теперь сказать, как Тютчев:

Дни сочтены, утрат не перечсть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как езд,
На роковой стою очереди.

Беспощадные слова!

Уткина уже нет! Он уходит в вечность; когда-нибудь о нем скажут так, как мы говорим о древних греках и римлянах: «Вот жил, мол, давным-давно некий Иосиф Уткин — большой русский поэт...»



Шли двадцатые годы...

Шли двадцатые годы. Страна собирала молодые творческие силы — в том числе и литературные.

Поэты-«провинциалы», познавшие радость первого признания у себя дома, стремились в Москву.

Трамвай № 4 доставлял нас — одесситов и киевлян — прямо с Киевского (тогда Брянского) вокзала в «Красную новь». Через несколько минут мы входили в кабинет А. К. Воронского. Он тотчас же читал наши стихи и говорил:

— Недурно, обратитесь к Казину, он здесь — за стеной.

В. В. Казин читал стихи, не отходя от автора, и говорил:

— Неплохо, через год напечатаем в «Красной нови», а пока идите в «Комсомольскую правду» к Уткину.

Ободренные этими «недурно» и «неплохо», мы вскакивали на ходу в тот же трамвай № 4, но следовавший в обратном направлении, и он мчал нас к Иосифу Павловичу Уткину.

Посещая огромный правдинский комбинат, где и сейчас редакция «Комсомольской правды», всегда вспо-

минаешь ее литотдел, особенно тесную его жилплощадь на Малом Черкасском, чердачное полукруглое окошко и низкий, как современная мебель, подоконник, на котором сживали Багрицкий и Светлов, Николай Дементьев и Джек Алтаузен, и не только они.

Позднее Джек Алтаузен пересел за стол секретаря — на секретарский стул. Стульев было всего два, и другой занимал Иосиф Уткин — заведующий отделом, председатель молодежного поэтического салона, главный арбитр наших ранних состязаний в поэзии.

Он тут же просматривал принесенные стихи, оглашал их перед собранием и при общем одобрении накладывал резолюцию «в набор». Такую же подпись ему суждено было сделать и на рукописи «Думы про Опанаса» Багрицкого, и светловской «Гренады». Напечатал И. П. Уткин и многое другое, что переходило потом в сборники и антологии, а затем и в собрания сочинений и юбилейные издания.

Все это принято называть литературным процессом.

Иосиф Павлович Уткин был одним из тех, кто этот процесс направлял в самом его начале.

Мое стихотворение говорит о нашей молодости и молодых годах советской литературы.

В ГАЗЕТНОМ КОМБИНАТЕ

Пройдемся шагом скорым
по комнатам большим,
по длинным коридорам
мы в молодость вбежим.

Прикажем мыслям:
«Правьте
полет свой в даль годов».

Нас в «Комсомольской правде»
печатает Костров.

И реплики,
и шутки,
и спор,
как пир горой...
Меж нами юный Уткин,
Багрицкий молодой —

романтики сторонник,
седая голова...
Обсела подоконник
безусая братва.

Внизу Черкасский Малый,
Никольская у ног.
Мы все провинциалы,
но дайте песням срок.

И эти песни надо
не долго ожидать,—
светловская «Гренада»
дементьевская «Мать»!

Такое нынче время,
так молодо оно,
что никакое бремя
давить нас не должно.

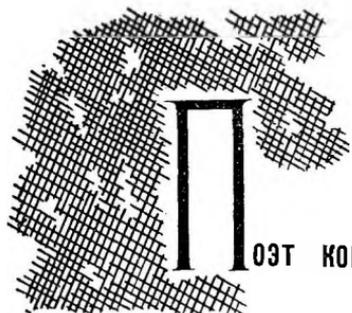
Докажем молодежи,
старинные друзья,
что стих у нас надежен,
и без него

нельзя,

что нужен он,
как воздух,

как хлеб
и как вода,

что думами
он в звездах,
хоть на земле
всегда.



ОЭТ КОМСОМОЛА

Судьбу свою в судьбе России
Глазами сердца мы прочли...

«Русская песня», 1943

Есть у комсомола замечательная плеяда поэтов, воспевавших его юность. Мы, старые комсомольцы, естественно, прежде всего вспоминаем своих сверстников — Александра Безыменского и Александра Жарова, Михаила Светлова и Михаила Голодного, Ивана Молчанова, Джека Алтаузена, Иосифа Уткина... Вместе с комсомолом шли они ленинской дорогой, с винтовкой в руках защищали молодую Республику Советов, строили социализм, равнялись на правофланговых — большевиков-ленинцев.

Но сейчас речь об Уткине. Пришел он в революцию юношей. Возмужал в бурных схватках гражданской войны в Сибири. Видел и «тифозные перроны», и «у проруби багровый лед», и партизанских матерей, запоротых «шомполами в штабе офицерском»... Потому у него так взволнованно и прозвучало: «В брони, в крови, в заплатах — вперед, вперед, вперед! — страдал и шел двадцатый неповторимый год!!»

Я помню этот двадцатый год в Сибири — трупы, плывшие по Иртышу в ледоход, тифозные перроны, суд над колчаковским правительством в коробке огромного, еще пустого цеха железнодорожных мастерских в Омске, партизанских вождей Мамонтова и Щетинкина в составе Революционного трибунала и нашу первую, майскую сибирскую комсомольскую конференцию.

Уткин и говорил, осознавая себя ветераном суровых двадцатых годов: «Был путь мой строг, был путь мой крут и тяжела была победа». Голос поэта звучал слитно с эпохой и звал к преодолению трудностей, к борьбе, к победе. Этот голос свидетельствовал не только о бунтарском жаре поэта — гражданина и бойца. В голосе поэта звучали свои лирические нотки, мотивы грусти, иронии...

Вторая половина двадцатых годов была примечательной в творчестве поэтов и писателей, связанных с комсомолом. Уже шумело задорное юное объединение «Молодая гвардия». Действовало наше юношеское издательство — того же названия. Стали выходить литературные журналы: «Смена» — для рабочей молодежи, «Журнал крестьянской молодежи» — для деревни, и снова «Молодая гвардия» — толстый и солидный ежемесячник для комсомольского актива.

Как-то редактор журнала «Молодая гвардия» позвонил мне по телефону и радостно сообщил:

— Срочно созываем редколлегию. На мой взгляд, родился многообещающий поэт. Будем читать его поэму. Он принес ее в наш журнал. Как она написана — восторг! Автор недавно приехал из Сибири, такой интересный парень!

Экспансивный редактор говорил об Иосифе Уткине и его поэме «Повесть о рыжем Мотэле»...

И вот мы сидим в Цекамоле — редколлегия и приглашенные поэты и писатели — и слушаем поэму Уткина. Не хочу фантазировать о деталях — более сорока лет прошло с того дня. Но это был действительно триумф молодого поэта-комсомольца, отличного парня. Чувствовалась своеобразная задушевная манера письма поэта. Отдельные фразы звучали, как музыка, запоминались, как афоризмы. Помню, улыбаясь, мы пересказывали потом друг другу:

«И дед и отец работали. А чем он лучше других? И маленький рыжий Мотэле работал за двоих»...

«По-разному счастье курится, по-разному у разных мест: Мотэле мечтает о курице, а инспектор курицу ест».

Все мы поздравляли Иосифа, а редактор добавил, по праву старшего:

— Только нос не задирай, красавец...

После «Мотэле» к Уткину пришла известность, слава. На литературных вечерах ему устраивали овации. Мудрено ли, если голова и кружилась от похвал и рукоплесканий...

Большой друг молодежи А. В. Луначарский присоединился к поздравлениям, сказав, что в лице Иосифа Уткина мы имеем настоящего поэта, который «никогда не шокирует вас угловатыми барабанными ритмами, сухой метрикой, он всегда остается мелодичным... Указанная выше настроенность его стихотворений не случайна, не празднична... она получается от общей настроенности всего его сознания, всей его психической жизни, которую поэтому-то я и называю поэтической».

Исключительно благожелательная, верная и лестная оценка!

Встречались мы, работники комсомола, в те годы с Уткиным не раз. Уткину свойственно было вызывать симпатии у окружающих, и видеть его было приятно — красивого, стройного, пышноволового. Собеседник он был остроумный. Я помню его в первые годы московской жизни, когда он мог ответить на «анкету Н. Ащукина» (1926) совсем скромно: «Я в Москве очень недавно, не имел комнаты, не имел и книг. Мечтаю о самой широкой библиотеке»...

Но случались в творчестве поэта и срывы. Помню трудный разговор в Цекамоле. Уткину говорили: «Брось ты эти «гитарные звуки», не надо потрафлять сентиментальным девицам»... Кто-то резко сказал, желая его «пронять»:

— Тебя зовут «поэтом советских гимназисток»...

Уткин огрызнулся:

— Ну и пусть!..

Может быть, наши упреки назовут слишком прямолинейными. Но мы знали, что Уткин — талант, он — наш, он — комсомольский поэт, он же сам заявил: «В чем уютно буду сомневаться, в революции, товарищ, — никогда». И мы ему говорили прямо и откровенно: «Не дадим тебе оторваться от комсомола!»

Вскоре (1930) он напишет: «Мне говорят: мол, мы не дышим маем, мол, юности расцветок не берем. Ах, чудачки! Они не понимают: мы юношествовали с Октябрем... Мне говорят: учитесь трелям Фета, льют соловьи, грохочет водоем; ах, чудачки, друзьям, как эстафету, мы, умирая, песнь передаем... Мне говорят... враг жив... не позабудь. Ах, чудачки! Все наше поколенье над баррикадами поднять готово грудь».

Удивил меня Иосиф, когда пришел в Цекамол, ведя за руку свою сестру, познакомил с ней и выпалил: — Саша, устрой ее на производство!

Сидели они передо мной молодые, красивые, под стать друг другу — залюбуешься! Я было заикнулся — всерьез ли это? На производстве трудно... «Нет, нет. Мы это твердо решили».

Не помню подробностей. Помню только, что принялся я звонить по телефону и устроил сестру Уткина слесарем на авиазавод. Мне казалось, я поступаю правильно, поддержав этот порыв, это их решение...

В тридцатых годах я уже не работал в комсомоле, да потом и вовсе надолго уехал в Сибирь, так что с Уткиным больше не встречался.

Больно защемило сердце, когда, находясь на Крайнем Севере, с опозданием узнал о гибели Иосифа Уткина в ноябре 1944 года при авиационной катастрофе. Поэту, сверстнику моему, шел сорок первый год. Его поэтический талант служил родине, он был на фронте — там, «где, кажется, люди тверды, как гранит, где гневной России громовое эхо, вперед продвигаясь, над миром гремит».

Имя Иосифа Уткина вошло в историю юности нашей родины, в историю комсомола, в историю революционной поэзии. Рано ушел от нас поэт. Как поднялся бы он в послевоенные годы, как могуче зазвучал бы его голос, голос революционера, бойца, с юных лет глазами сердца прочитавшего судьбу свою в судьбе России.



Я любовно гляжу на тоненькую книжицу. Забавный большой рисунок К. Ротова и скромная надпись: «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исае и комиссаре Блох». Автор — Иосиф Уткин. На титульном листе надпись: «Тов. Эренбургу, представителю старшего поколения, от молодого литератора с уважением Иосиф Уткин. 21.VI.28 г.»

«Представителю старшего поколения» было тогда тридцать семь лет, а «молодому литератору» двадцать пять. И. П. Уткин приехал в Париж с двумя товарищами; они побывали в Сорренто у Горького, поглядели Варшаву и Прагу. Уткин был высоким юношей, держался скромно, неуверенно в себе, говорил, что не знает, как писать.

Я перечитал крохотную повесть в стихах, и она снова меня тронула, как тронула сорок лет назад. В этой поэме Иосиф Павлович, а ему было двадцать два года, когда он ее написал, показал свое лицо, свой голос, свои интонации.

Молодой Мотэле живет в Кишиневе, где много евреев, где живет и бородатый господин инспектор с же-

ной, которая весит семь пудов, и где охраняет порядок городской. Бедный портняжка хотел учиться, но это ему не удалось. «Так что же? Прикажете плакать? Нет как нет.— И он ставил десяток заплаток на один жилет». Он встречает разных людей и думает: «Да, под каждой слабенькой крышей, как она ни слаба, свое счастье, свои мыши, своя судьба». Наступает революция: «Брюки! Жилетки! Смейтесь! Радуйтесь дню моему! Гос-по-дин по-лиц-мейстер сел в тюрьму!» Шли дни, «и в небе без толку висели пуговицы звезд и лунная ермолка». Мотэле стал комиссаром, а инспектор сбрил бороду и пошел работать в местный Совет делопроизводителем. «Много дорог, много! А не хватает дорог. И если здесь — слава богу, то где-то — не дай бог»... «Кто подумал бы, кто бы поверил, кто поверить бы этому мог? Перепутались мыши, двери, перепутались нитки дорог».

Эта поэма для меня одно из признаний начала революции, в ней переплетаются романтика с иронией, она помечена той романтической иронией, которая нас восхищает в поэзии Михаила Светлова.

И. П. Уткин был слишком мягок, слишком человечен для суровых лет: перепутались нити дорог, обвалились слабенькие кровли, разбежались мыши. Стихи Уткина начали напоминать стихи многих.

Он часто приходил ко мне в начале войны: был встревожен — боялся не за свою жизнь, а за судьбу родины. Вскоре он уехал на фронт и там показал подлинное мужество. Погиб он в возрасте сорока одного года, многое не пережив и не дожив до многого.

А старая книжица лежит передо мной... Не наше дело распределять по рангам, взвешивать караты и выдавать лавры, только одно можно сказать: Иосиф Уткин был поэтом.



Ветер юности

(Из записок разных лет)

ПАРЕНЬ ИЗ СИБИРИ

Двадцатые, неповторимые годы. Жизнь полна исканий, противоречий, споров, неожиданных открытий, новых знакомств и волнующих встреч. По вечерам в здании Пролеткульта на Воздвиженке, в бывшем особняке Морозова, — литературные вечера, диспуты, спектакли, выставки картин молодых художников.

В беломраморных залах можно встретить Луначарского, Маяковского, Есенина, энергичного Эйзенштейна с боевой оравой своих студийцев и верных оруженосцев — Александрова, Штрауха, Антонова, Левкоева, Юрцева, Януковой.

Увлеченно споря, входят молодой Безыменский и слушатель Военно-политической академии Юрий Либудинский, автор недавно опубликованной и отмеченной в «Правде» повести «Неделя».

По широкой лестнице легко поднимается в сопровождении Тарасова-Родионова, пишущего ритмической прозой, обаятельнейшая Лариса Рейснер, женщина-

комиссар военной флотилии и героиня будущей, еще не написанной «Оптимистической трагедии».

Подтянутый, с мужественным смуглым румянцем во всю щеку, проходит Дмитрий Фурманов, рядом с ним в студенческой фуражке вышагивает приехавший с Дальнего Востока длинный, крутогрудый партизан Булыга, он же Александр Фадеев, напечатавший в молодогвардейском альманахе свою первую повесть «Разлив».

К вечеру, как всегда, появляется неразлучная тройка украинцев — Голодный, Светлов, Ясный. Они еще малоизвестны, бесквартирны, но настроены воинственно и каждую новую жизненную позицию дружно берут с бою.

На мраморной скамье у камина поэт Василий Александровский читает вслух свою новую поэму девушке с синими глазами и в шароварах до колен — Вале Герасимовой, о ее повести «Ненастоящие» в эти дни спорит вся комсомольская Москва...

В Пролеткульт мы шли как в родной дом: здесь нас встречали друзья, товарищи, молодые единомышленники, поэты, художники, артисты.

Здесь, в Пролеткульте, на очередной литературной субботе я повстречал впервые незнакомого парня, приехавшего из Сибири.

Он был высок, строен, смугл. Могучий вихрь непокорных волос украшал его высоко поднятую голову. Из-под синей расстегнутой блузы, напоминая о море и ветре, небрежно выплескивался угольничек флотской тельняшки. Его никто не знал.

Он выступил с критикой рассказа одного почтенного сибирского писателя. (В те годы на литературных вечерах мог выступить любой желающий из публики.)

Остроумное, полное беспощадной и неотразимой иронии выступление сразу привлекло к себе общее внимание.

На следующей литературной субботе незнакомец прочитал два своих стихотворения. Одно из них — «Письмо» — запомнилось с первого прочтения:

...Я тебя не ждала сегодня
И старалась забыть любя.
Но пришел бородатый водник
И сказал, что знает тебя.

.
Я его поняла с полслова,
Гоша,
Милый!..

Молю...
Приезжай...
Я тебя и такого...
И безногого...
Я люблю!

Автор заметно волновался, хотя внешне старался этого и не показывать. Видно было, что он ревниво относился к тому, какое впечатление произведут его стихи на аудиторию. Стихи похвалили.

В тот вечер выступал и я. Мы познакомились. Завязалась дружба. В чем-то наши судьбы оказались сходными: комсомольцы, участники гражданской войны, любим литературу, спорт, музыку.

Новый приятель жил где-то возле Зоологического сада, был студентом Коммунистического института журналистики, ночами работал над новой поэмой. Замах был дерзкий: через судьбы обывателей провинциального местечка показать историю нашей героической эпохи.

Работал он медленно, трудно, проверяя на слух

каждое слово, каждую фразу. По форме поэма была необычна — разговорна. Мне нравилась. Я решил пригласить приятеля выступить с чтением ее во Вхутемасе, где я учился и где часто устраивал встречи писателей со студентами.

МАЯКОВСКИЙ

В те годы Вхутемас — Высшие художественно-технические мастерские — находился на Рождественке, в здании бывшего Строгановского училища, а студенческое общежитие — на Мясницкой, в огромных восьмизэтажных домах Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором когда-то занимался Маяковский и куда он нередко заглядывал к близким друзьям.

Студенты Вхутемаса любили Маяковского. Этой молодежи, приехавшей в Москву с далеких окраин, с фронтов гражданской войны, нравился поэт-бунтарь, беспощадно громивший старый мир. Они ценили все смелое, необычное, радостно принимали новое, революционное. Здесь, во Вхутемасе, возникло содружество Кукрыниксов, родились куклы Образцова.

Сюда, в студенческую коммуны, приезжали Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской.

У Маяковского во Вхутемасе были преданные поклонники. В прошлую встречу он оставил свой телефон:

— Для вас у меня семафор всегда открыт. Звоните в любое время суток, не стесняйтесь, я всегда приеду!

И не было случая, чтобы Владимир Владимирович отказался от выступления в студенческой аудитории.

Он приходил всегда точно к назначенному часу, и его встречали радостной бурей аплодисментов.

На один из таких вечеров я пригласил своего друга. Настроение у студентов было праздничное. Маяковский привычно поднялся на сцену. Сняв пиджак, деловито повесил его на спинку стула и без предисловий начал читать стихи. Набатный бас его гремел. В зале жарко и душно. Маяковский устал, но студенты требуют все новых и новых стихов. Нужна была небольшая передышка, и тогда я объявил:

— А сейчас выступит поэт Иосиф Уткин!

В зале вспыхнул неуправляемый смех.

— Иосиф Уткин! Какой Иосиф Уткин?!

Всех развеселило непривычное сочетание библейского имени — Иосиф с простой и обыденной фамилией — Уткин.

Перекричать зал было невозможно.

Уткин стоял за кулисами бледный и нервно кусал губы. Я обратился за помощью к Маяковскому:

— Владим Владимыч, прошу заступиться!

Маяковский шагнул на авансцену и повелительно поднял руку:

— Товарищи, это же неуважение к молодому поэту, давайте послушаем!

Уткин вышел на сцену при полной тишине. Он был в сапогах и в своей синей расстегнутой рубашке навыпуск. Насупленно глядел в темный зал: сложившаяся обстановка явно невыгодна для первой встречи. Выступить в этой аудитории после Маяковского решил бы не всякий.

— «Повесть о рыжем Мотэле»!

Уткин начал читать с вызовом, вдохновенно, зло.

Аудитория была захвачена врасплох, ошеломлена

его отвагой, и многим, вероятно, стало неудобно за свое поведение. Когда он закончил чтение первой главы и удалился за кулисы, в зале поднялся невообразимый шум.

— Уткина, Уткина!— кричала одна половина слушателей.

— Маяковского, Маяковского!— требовали другие. Маяковский снова вышел на сцену.

— Видите, а вы не хотели слушать!— улыбаясь, сказал он.— Если хотите из нового, я прочту вам «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». Правда, эта вещь у меня не совсем отделана...

— Просим, просим!— поддержали из зала.

Маяковский познакомил слушателей со своей новой сказкой. Затем Уткин дочитал поэму до конца и был награжден шумным водопадом аплодисментов.

Широким шагом Маяковский пересек сцену и дружески, от всей души пожал руку молодому поэту.

— Замечательно, товарищ Уткин,— громко, во всеуслышание поздравил он.— Заходите, Мясницкая, 21, к Асееву. Мы, лефы, всегда будем вам рады!

Так Маяковский— первый из поэтов— публично признал и приветствовал тогда еще никому не известного молодого поэта, автора еще не напечатанной поэмы.

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ РЕВОЛЮЦИИ

В Англии всеобщая забастовка горняков. На первых страницах наших газет тревожные заголовки: «Правительство готовится подавить забастовку силой»,

«В Лондоне срочно мобилизуется 50 тысяч полицейских!», «Отдан приказ о применении репрессий к бастующим».

Весь мир с глубоким сочувствием следит за борьбой английских горнорабочих. Наши сердца и мысли там, за морем... А заголовки газет с каждым днем все тревожней, накаленней: «Забастовка расширяется», «Машинисты и кочегары бастуют поголовно», «Войска занимают парки», «Стихийный рост забастовки! Международная буржуазия в тревоге!»

Со всех концов земли в Англию на поддержку бастующих переводятся средства, собранные среди трудящихся разных стран.

По Москве расклеены афиши: в Театре Революции большой литературный вечер «Революционные писатели — английским рабочим». Весь сбор предназначен для отправки бастующим. На афише — Маяковский, Серафимович, Мих. Кольцов, Асеев, Инбер и другие маститые. Уткин и я — самые молодые.

У театра — океанский прибой. Студенческая и рабочая молодежь атакует все входы и выходы. К литературному вечеру повышенный интерес. С трудом пробиваемся через артистический подъезд на сцену. Партер, ложи и галерка набиты до самого потолка. Уткин читает на днях написанную «Балладу о мечах и хлебе»:

За синим морем — корабли,
За синим морем — много неба.
И есть земля —
И нет земли,
И есть хлеба —
И нету хлеба.

В тяжелых лапах короля
Зажаты небо и земля.

Мне кажется, по лаконизму, по выразительности, по боевой направленности это — одно из самых удачных его стихотворений. В зале напряженная тишина.

За синим морем — день свежей.
Но холод жгут,
Но тушат жары
Вершины светлых этажей,
Долины солнечных бульваров.
Да горе в том, что там и тут
Одни богатые живут.

Стихотворение адресовано сегодняшним событиям — такое ощущение, будто я слышу из зала учащенные стук сердца.

У нас — особая земля.
И все у нас — особо как-то!
Мы раз под осень — короля
Спустили любоваться шахтой.
И к черту!
Вместе с королем
Спустили весь наследный дом!

Уткин читает резко и гневно, вгоняя каждое слово, как боевой патрон.

За синим морем — короли.
Туман еще за синим морем.
И к нам приходят корабли
Учиться справляться с горем.

В грозовой тишине, как заключительный залп, звучат последние слова баллады:

Привет!
Мы рады научить
Для нужных битв мечи точить!

Трудно передать, что случилось с залом. Слушатели стоя приветствуют боевой призыв поэта...

«КРАСИВЫЕ, ВО ВСЕМ КРАСИВОМ...»

Серебряный бор. Мы приезжаем сюда на пляж, позагорать, поплавать. Иногда и с гитарой! Споры и разговоры обо всем на свете — о жизни, искусстве, девушках, но на первом месте, разумеется, любимая литература.

Уткин увлечен поэтами пушкинской плеяды, читает наизусть Рылеева, Баратынского, Языкова, Вяземского, Одоевского, но с особенным восхищением — стихи Дениса Давыдова. Он неплохо знает историю партизанской войны времен французского нашествия, его душу бережат романтические образы поэтов-партизан, их вольные действия и безудержная отвага на войне, сыновняя любовь к отчизне, благородство и верность в дружбе, веселые гусарские пирушки, их застольные песни — в чем-то и наша военно-бивачная молодость перекликается с той боевой жизнью...

Давно уже ушли последние автобусы.купаемся в ночной реке, вода теплей воздуха. Занимается сизый, мутный рассвет. Начинает поддувать предутренний ветерок. Хочется есть. В карманах кусок зачерствелого хлеба. В предрассветной мгле бредем через какое-то поле в сторону далекого шоссе. Все вокруг как-то неуютно — рыжее жнивье, сухие комья земли, пронизывает холод.

Неожиданно Иосиф бросает на землю свой серый пиджак, ложится на живот и достает из кармана карандаш. Значит, нашло! Товарищу нельзя мешать. Ложусь рядом и пытаюсь заснуть. Небо постепенно светлеет, но остается каким-то неприветливым, серо-оцинкованным. По шоссе уже катят первые автобусы. Уткин сосредоточенно покачивает головой, что-то бормочет. Не часто увидишь приятеля в такую минуту: творчество — дело глубоко интимное... Открываю глаза, потягиваюсь. Уткин что-то быстро дописывает и победно, в полный голос читает:

Красивые, во всем красивом,
Они несли свои тела,
И, дыбя пенистые гривы,
Кусали кони удила.
Еще заря не шла на убыль
И розов был разлив лучей,
И, как заря,
Пылали трубы,
Обняв веселых трубачей...

Последние строчки, словно похваляясь ими, он повторяет дважды... Сложны, неуловимы моменты вдохновения, и бог весть — где и когда могут застигнуть они поэта...

«А ОНА ЛЕТИТ, ЛИХАЯ...»

Выступаем в Большом театре, на торжественном заседании комсомольского съезда: Безыменский, Жаров, Уткин и я. Раньше мы выступали только вдвоем, теперь к нам примкнул и Уткин.

Он уже стал знаменитым. Вечера и афиши, встречи и выступления. Поездка за границу к Горькому. Уткин

редактирует «Литературную страницу» в «Комсомольской правде». Заведует в Гослитиздате отделом поэзии. С ним живет его полуслепая мать. Иосиф нежный и заботливый сын.

Одной из черт его характера была непримиримость. Ему не прощали гордости. Он жил замкнуто, но работал с полным напряжением сил. Мы почти не встречались в это время: служба в авиации надолго разлучила меня с друзьями. Но вот грянула война, и Уткин одним из первых уходит на фронт. Он ведет себя мужественно, тяжело ранен. Поэт-воин дерется против фашистов с оружием в руках, воюет стихами, публицистическими выступлениями. В госпитале мы увиделись в последний раз. Застынувший врасплох, Уткин торопливо прикрыл изуродованную кисть руки черной перчаткой.

— Да, старина,— пошутил он,— не придется нам теперь играть на гитаре...

Но в шутке прозвучала грусть.

Беру томик его стихов. Снова пахнуло на меня ветром юности. Вот летит она, наша лихая боевая тройка:

...Как на свадьбе, топоча,
Размахнулась, ходит песня
От плеча и до плеча!..
А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Замирая, затихая,
Будто молодость моя...

Как живо перекликается она с современной юностью!



В дни молодости я со своим приятелем — спортсменом по натуре и по служебному профилю (он работал в ВСФК) — часто бывал в Самарском переулке, где находился каток Дома Красной Армии. В зимние вечера сюда стекалась молодежь со всей округи. Среди завсегдатаев стадиона мы заприметили двух молодых людей, которые выделялись своей галантностью и некоторым налетом «пижонства». Стоит напомнить, что в середине двадцатых годов продолжалась глухая борьба против галстуков, презрительно именовавшихся «гаврилками», а духи и пудра рассматривались как прямой результат «классово чуждых влияний». Двух незнакомцев неизменно встречали с оттенком недоброжелательства; подозревали даже, что они сынки нэпманов...

Каково же было мое удивление, когда ранней весной 1926 года я увидел одного из них в «Комсомольской правде». Друзья, заметив мой недоуменный и вопрошающий взгляд, поспешили сообщить, что этот товарищ — Иосиф Уткин, молодой поэт, заведующий литературным отделом газеты. Через месяца два-три,

пообвыкнув в новом коллективе и ближе познакомившись с Уткиным, я рассказал ему о толках-пересудах в Самарском переулке, сопровождавших его появление на льду. Он от души рассмеялся и полушутя ответил:

— Что ж, поэт должен чем-то выделяться... Если не стихами, то хоть одеждой... До нэпмана мне, конечно, далеко — у меня всего один выходной костюм, купленный на трудовые рубли... А сравнение с нэпманами все же обидно... — И уже всерьез добавил: — Вообще же наступит, черт возьми, время, когда все мы будем чисто и красиво одеты. Мы устали от бедности. Разве мы не заслужили лучшего?

Признаюсь, в то время я не уловил, не понял горького подтекста этих слов — я не знал, что Уткин еще в юности испытал нужду, был кормильцем семьи, почти мальчишкой воевал против Колчака и с трудом «выбился в люди».

В «Комсомолку», как и в каждую солидную редакцию, посетители вливались двумя потоками: один был, так сказать, «деловой», другой — «лирический». Деловой — это юнкоры, изобретатели, инженеры, рабочие, агрономы — авторы, друзья и советчики редакции. Лирический — поэты и писатели — маститые и начинающие; вместе с ними проскальзывали графоманы и испытанные халтурщики, поседевшие, по выражению старых газетчиков, в боях за гонорар. «Внепоточно» приходили «Зевсы-опровержцы», как их называл В. В. Маяковский.

Мы не вели научно-исследовательской работы, анализирующей направление потоков и запросы посетителей. Но в сводках массового отдела, наряду с постоянными авторами, особенно выделялись жалоб-

щики и... поэты. Многоликий поток с утра «впадал» в коридор и затем устремлялся в литературный отдел и в бюро расследований — так назывался отдел писем и жалоб. Человеческий прилив не ослабевал на протяжении всего дня. И можно было позавидовать дипломатическому такту, находчивости, сдержанности Иосифа Уткина и его помощника Джека Алтаузена: они ухитрились всех принять и всех выслушать — кому-то дать совет, кого-то убедить отказаться от бесполезных упражнений в стихах, что значительно труднее...

Помнится, однажды я был свидетелем такого эпизода. Один молодой человек, представившись дежурному литконсультанту как «член профсоюза совторгслужащих», тут же вытащил кусок линованой бумаги и без обиняков начал громко читать:

Проснувшись, часто по утрам
Я думаю о ней...
И в переулке шум и гам
Становится сильней...

Литконсультант мягко прервал его, сказав, что хочет сам прочесть рукопись. Не тут-то было! Член профсоюза почувствовал некое ущемление своих прав и потребовал заведующего. Уткин стоически выдержал испытание. Он расспрашивал автора о занятиях, интересах, любимых героях книг и кинокартин, а в заключение посоветовал ему больше читать. (Автор стихов увлекался в основном ковбойскими фильмами.) Незадачливый поэт, мне кажется, понял, что писать ему, пожалуй, не следует. Как бы то ни было, разговор о нелепостях и алогизме стихов происходил в весьма дружественной и вежливой форме.

В литературном отсеке нашего газетного корабля и примыкающем к нему коридоре всегда бурлил лирический поток. Здесь можно было встретить Якова Шведова, Михаила Светлова, Александра Безыменского, Александра Жарова, Николая Сидоренко и молодого, только еще начинающего Виктора Гусева. Владимир Маяковский в эти годы был с головой погружен в поэтическую публицистику и сатиру — его стихи часто появлялись в бытовом и в комсомольском отделах, порой и на «Литературной странице». Сам Иосиф Уткин гордился тем, что не принадлежал ни к одной писательской группировке: на организованной им «Литературной странице» можно было видеть имена поэтов различных творческих почерков, вплоть до Б. Пастернака. Очень часто на «Литературной странице» печатался А. В. Луначарский — один из настоящих друзей и активных авторов «Комсомолки».

Главной темой газеты, естественно, была молодежь — воспитание ее мировоззрения, борьба с чуждыми нэповскими влияниями. Этой теме посвящались стихи, заметки, подборки, целые полосы, разоблачавшие обывателей, мецан, лодырей, пьяниц — живых носителей пережитков прошлого. И естественно, все, что «выпадало» из профиля газеты, не отвечало ее боевому духу, вызывало резкую критику. Именно на страницах «Комсомольской правды» развернулась острая дискуссия, вызванная стихотворением И. Молчанова «Свидание» и знаменитым ответом В. Маяковского. Столь же бурно реагировал Владимир Владимирович и на другое стихотворение Молчанова — «У обрыва», причем «поединок» Молчанова с Маяковским шел в одном и том же

номере газеты, и именно на ее «Литературной странице».

Маяковский порой бывал очень резок, но прям и откровенен. На вечере в Доме комсомола на Красной Пресне, в котором принимали участие также Безыменский, Жаров, Шведов и другие, отвечая на поданную ему записку — автор желал узнать мнение Маяковского о стихах Уткина, — он «с ходу» ответил:

— Уткин — хороший человек и часто пишет хорошие стихи. Мне говорят: он лиричен. Для кого, я спрашиваю, для себя или для читателей? Пиши что хочешь, но пиши так, чтобы стихи не размагничивали читателя, а помогали жить, работать, радоваться, бороться. У Уткина случается наоборот. Я не умею прятать свое мнение и, так сказать, придеколонизовать критику...

На том вечере мы не стали вступать с ним в полемику о поэзии Уткина. Но нам казалось, что в общей оценке творчества Уткина Маяковский был неправ. Когда старожилы «Комсомолки» вспоминают об отношениях между поэтами, в частности Уткина и Маяковского, то нередко впадают в крайности. Всем нам, наблюдавшим повседневную жизнь редакции, было ясно, что проявления излишней резкости в оценках со стороны Владимира Владимировича отнюдь не отражали его общее уважительно-товарищеское, полуотеческое отношение к Иосифу Уткину. Я помню, например, с какой искренней радостью все мы, в том числе и в первую очередь Маяковский, поздравляли Уткина с выходом в свет его великолепной «Повести о рыжем Мотэле».

Иосифа Уткина, как известно, время от времени «прорабатывали» за то, что он иногда уходил от

злободневных и острых тем дня. И тем не менее газетные люди его любили и уважали, понимали, что в главном, основном ключе своей поэзии он следовал традициям героической, гражданской лирики, связанной с его недавним прошлым. Талант поэта прозорливо оценил Максим Горький. На первую книжку стихов восторженно отозвался А. В. Луначарский.

Когда обращаешься к делам и дням «Комсомолки» тех лет, невольно вспоминаешь об интересных начинаниях газеты, связанных с именем Уткина. Поэт свою любовь к литературе искренне стремился распространить на молодых читателей, привить им вкус к чтению хорошей и умной книги. В редакции родилась прекрасная идея: познакомить молодежь с лучшими образцами зарубежной, русской и советской литературы. Эту мысль быстро подхватили и Безыменский, и Жаров, и, пожалуй, прежде всего Уткин. Долго спорили, отбирали произведения, составляли планы... И вот в газете начали появляться полосы и подборки «Десять книг, которые потрясут читателя», «Читайте в клубах», «Новые 13 книг, которые увлекут читателя»... Отрывки из произведений Толстого, Чехова, Бальзака, Стендаля, Гейне и других классиков мировой литературы возбуждали у рабочих юношей и девушек живой интерес. Иосиф Уткин и зам редактора Яков Ильин неизменно держали совет с А. В. Луначарским, который умел подсказать, какие именно произведения следует в первую очередь посоветовать для чтения. Эти усилия редакции были вознаграждены сотнями благодарственных писем со всех концов страны.

Обстоятельства сложились так, что после ухода из «Комсомолки» я несколько лет не встречался с Иоси-

фом Уткиным. Правда, о его житье-бытье временами рассказывал мне Джек Алтаузен. Джек вместе с группой писателей и поэтов участвовал в праздничных радиопередачах с Красной площади. После очередной передачи обычно вместе обедали — либо у Жарова, либо у Розенфельда, либо у Алтаузена. Неизменно веселый, энергичный и говорливый, Джек был всегда в курсе всех литературных дел и событий.

— Иосиф далеко пойдет! — заявил он как-то на одной из застольных встреч. — Некоторые пытались закрепить за ним, так сказать, навечно гитару. Но, ей-богу, они были не правы. Поэт он умный, талантливый, и в его стихах всегда присутствует социальная тема. Мне лично совместная работа с Иосифом дала очень многое, — продолжал Джек. — Помнишь наш литературный закуток? Там всегда спорили до хрипоты, ругались, низвергали кого-то с пьедесталов и прославляли, порой неумеренно, восходящие таланты. Вот тебе первый пришедший в голову пример: Виктор Гусев. Он был посредственным актером, но стал хорошим поэтом, да к тому же песенником. Правду я говорю? — И, получив утвердительный ответ, он шумно радовался и добавлял: — Я кривить душой не умею. Я не хвастунишка, но что правда, то правда. Хорошая была школа для начинающих стихотворцев. Да возьмите того же Исаковского. Где он начинал? У нас! — И Джек обводил присутствующих взглядом победителя.

В последний раз я встретил Иосифа Уткина на третьем году войны... Мы случайно столкнулись в гостинице «Москва». Сидя за скудным столом — у нас была пара бутербродов с пищевыми дрожжами и две-три воблы, — мы, разумеется, вспомнили мирные дни,

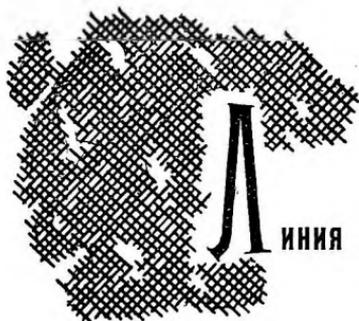
«Комсомолку» и свою уходящую и «повзрослевшую» молодость. Уткин стыдливо прятал правую руку, на которой оставался всего один палец, неловко поправлял свой военный мундир. Настроение у него было приподнятое, оптимистическое: позади была Московская битва, Сталинградская эпопея. Правда, уже возникало сражение на Курской дуге, и это рождало некоторую озабоченность. Уткин почему-то вспомнил о Блоке и начал читать его стихи о России:

...Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах ты,
И вот — она не запятнала
Первоначальной чистоты...—

а затем опять вернулся к годам «Комсомолки»:

— Я вспоминаю с теплым чувством те времена не потому, что то, «что пройдет, то будет мило»... Было много глупостей, недоразумений, порой ненужной ломки копий. Годы, проведенные в «Комсомолке», научили нас больше, чем десятилетия. И знаешь, что я думаю: люди в военное время стали лучше, чище, собраннее. Куда-то исчезли литературные склоки, зависть, погоня за славой. И это очень хорошо!

Мы оставили без внимания сигнал воздушной тревоги — он был, как всегда, назойливым, но казался уже неопасным, незначущим. Мы хорошо поговорили. Ну что ж, до будущей встречи — здесь же! Мы пожали друг другу руки, но эта встреча оказалась последней.



Линия мужества

Иосиф Уткин был моим соратником и другом.

Познакомился я с ним в редакции журнала «Прожектор», куда он пришел в 1924 году с пачкой лирических стихов, привезенных из Иркутска. Показал он и главу своей поэмы «Повесть о рыжем Мотэле», покорившую слушателей ритмическим своеобразием, самобытным юмором, смелостью мысли, живостью слова.

Полностью эту поэму я впервые услышал у него дома, когда он пригласил к себе меня и Эдуарда Багрицкого. Встреча наша была несколько необычной, прошла она под девизом: «Никаких читателей! Никаких стихов! Только поэты и поэмы!» Мы были очень молоды и не прочь были почудить... И каждый из нас прочитал по поэме. Сначала слушали «Мотэле», потом «Думу про Опанаса», потом — «Гармонь». Каждая поэма была «спрыснута» бокалом шампанского...

Уткин был редактором «Литературной страницы» «Комсомольской правды», я — редактором журнала «Комсомолия». Иногда нас разделяли эти сферы. Но комсомол нас объединял, направлял, разрешал наши редкие, но горячие споры.

Объединял нас своим вниманием к нам и добрейший Анатолий Васильевич Луначарский, у которого не раз бывали мы на квартире в Денежном переулке. Бывали вдвоем и поодиночке. Бывали и в компании других молодых работников литературы, музыки, театра. Луначарскому мы с Уткиным и Безыменским обязаны многим. Обязаны и командировкой за границу в конце 1927 года.

Были мы в Австрии, в Италии, во Франции. Но первой буржуазной страной, какую мы посетили, оказалась тогдашняя Чехословакия. Мы приехали в Прагу и остановились в гостинице «Атлантик», где нас любезно приняли и предложили нам выбрать номер. Мы выбрали 62-й. Оставили в номере свои чемоданы и пошли бродить по Праге в сопровождении работника нашего посольства. Вернувшись под вечер в гостиницу, мы узнали от администратора, что нас в наше отсутствие переселили.

— Ваш номер пятьдесят восьмой! Чемоданы уже там. Просим,— там будет удобней для вас...

Мы ничего плохого не заподозрили в этом переселении. Жили в 58-м номере шесть дней. А на седьмой рано-рано к нам пожаловала полиция. Нас арестовали и повезли куда-то. Привезли в подвал пражского полицей-президиума. Сам полицей-президент в полковничьем звании беседовал с нами. Он сказал, что беспокоил нас по приказанию министра внутренних дел, носившего фамилию Черный.

— Черный? — спросил Уткин. — Я так и думал...

Министр Черный входил тогда в число социал-предателей, составлявших буржуазно-демократическое правительство Чехословакии. Он приобрел «популярность» преследованиями коммунистов, расправами над

подлинно революционными рабочими. К нему мы и попали ни свет ни заря, сообразив, что наш литературный вечер, организованный пражской интеллигенцией, видимо, будет сорван. Об этом и пошел разговор.

— Позвольте... Чему мы обязаны?

— Вы, господа, обязаны покинуть Прагу.

— Покинем. Но сегодня наш вечер. Хотим воспользоваться тем, что у вас свобода слова для всех. Стихи почитаем...

— Вы уже попользовались нашей свободой. Хватит! Вечер ваш запрещен министром,— резко заявил шеф полиции, лично приступив к допросу.

Он хорошо говорил по-русски. И дал нам понять, что мы обвиняемся в том, что, беседуя с рабочими, студентами, журналистами, неделикатно отзывались о благах буржуазного парламентаризма и смеялись над фальшивой буржуазной демократией.

— Скажите, вы высказывали сомнения в подлинности наших свобод?

— Скажите, а вы притащили нас сюда, чтобы рассеять наши сомнения? — дерзко ответил Уткин вопросом на вопрос.

Полицей-президент повысил голос, предложил «прекратить остроумие». Затем нагнулся и где-то под столом включил магнитофон. Мы с удивлением услышали свои голоса. Отчетливо прозвучала фраза: «...Выходит, что демократия у вас не для народа, а для буржуев и помещиков?..»

— Кто из вас это сказал? — гневно спросил полицей-президент.

— Я! — ответил Уткин, хотя эти слова были сказаны не им.

Двадцатичетырехлетний Иосиф, гордый, строй-

ный, вызывающе смотрел в лицо полицейскому социал-бурбону, видимо раздражая его своей выдержкой.

— Молчать! Вы слишком уж смелы! Вы не у себя дома!

— Нас учили быть смелыми и в гостях...

— Молчать! Тут вам не Россия, а Европа...

— Это мы видим, господин полицей-президент.

Дальше говорила за нас пленка, звучали наши голоса, которые кто-то ухитрился записать во время наших бесед с чешскими друзьями, а иногда и с недругами...

Визит наш кончился тем, что мы были отпущены, но — в сопровождении двух вооруженных конвоиров. С ними мы отправились в гостиницу за своими вещами.

Войдя в номер, мы увидели монтера, стоявшего на стремянке. Он, ничуть не смущаясь, на наших глазах вынимал из вентилятора микрофон, установленный для подслушивания и записи разговоров, происходивших в нашем номере. Эта техника была тогда в новинку. Потому мы и попались на ее крючок, беседа слишком откровенно со всеми без разбора. Потому мы и не догадались о причине переселения в 58-й номер, где уже был установлен микрофон.

Конвоиры не дали нам возможности обменяться мнениями по этому поводу. Они торопились к поезду, в котором должны были препроводить нас на австрийскую границу.

И вот — мы на пражском вокзале, возле вагона с решетчатыми окнами. Поднимаемся на площадку. Перед самым отходом поезда к нашему вагону, оттолкнув конвойных, прорвался молодой смельчак — без головного убора, несмотря на зимнюю погоду, в белой

рубашке, сверкавшей из-под пальто, красивый молодой человек с пышной шевелюрой. Он успел пожать нам руки и на русском языке извинился за произвол социал-прислужников буржуазии, выславших нас из Праги:

— Не судите, ребята, по черным людям о чешском народе. Черных людей у нас не так много. А простые люди — чехи и словаки — всей душой с вами, советские братья!..

Конвойный столкнул молодого человека с площадки. Уткин громко спросил его:

— А ты кто, товарищ?

— Я журналист из газеты «Руде право», меня зовут Юлиус Фучик...

Поезд тронулся.

— Какой интересный парень, — сказал я Уткину, — любопытно, что внешне он похож на тебя...

— На такого парня хочется быть похожим не только внешне... Кстати, куда он исчез?

— Да вот стоит на линии, машет нам рукой.

— Он стоит на линии мужества, — сказал Иосиф.

Тема мужества была для Уткина темой его творчества и, если можно так сказать, темой его жизни.

С Уткиным я был связан многими годами работы, отдыха, путешествий. Мы с ним дышали одним и тем же воздухом комсомольской юности, составлявшим атмосферу нашей поэзии.

В первый раз я увидел Уткина, когда он приехал в Москву из Сибири в партизанской шинели, надетой на матросскую тельняшку. В руке его был сборник стихов Лермонтова. Это в 1924 году.

В последний раз я видел Уткина мертвым на военном аэродроме под Москвой, где разбился самолет,

летевший с фронта из Румынии. Это было 13 ноября 1944 года. В кармане его тужурки я обнаружил сборник стихов Лермонтова, но на сей раз не на русском, а на румынском языке. Невольно вспомнились строки уткинского стихотворения «Затишье», написанного им где-то на фронте в 1943 году:

Над землянкой в синей бездне
И покой и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.

.....
Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг...
Будто лермонтовский ангел
Душу выронил из рук...

Уткин любил и хорошо знал Лермонтова. Особенно его лирику. Он иногда даже отдавал предпочтение Лермонтову перед Пушкиным, что было предметом наших жарких споров. Я считал, что пристрастия у поэтов, как и у читателей, могут меняться. Но Пушкин, Лермонтов, Некрасов должны быть неизменными каждый на своей ступени. Уткин был более экспансивным, поддаваясь увлечению. Он и Тютчева мог иногда поднимать на высоту сверхкорифеев. Это было, вероятно, своего рода романтическим порывом молодой души.

Но романтика уткинских стихов имела свой облик. Она была романтикой воинской доблести и подвига во имя нашей революционной правды на земле. Некоторым ранним стихам Уткина была свойственна созерцательность, любование внешними чертами лирического героя. Иные критики той поры спешили на этом основании с обобщениями, говоря об издержках

творческих поисков как о сущности творчества. Но сущность состояла в том, что Иосиф Уткин настойчиво искал свое, особое выражение красоты мужества, присущей его современникам, чьи стремления к правде и красоте жизни немыслимы без борьбы, без преодоления препятствий и преград.

Он не раз повторял слова Белинского: «Борьба есть условие жизни— жизнь умирает, когда оканчивается борьба». Цитируя эти слова, Уткин добавлял от себя: «А мужество есть условие победоносной борьбы. Значит, надо славить мужество, находить в нем красоту, способную увлекать молодых читателей».

Образы мужественных людей наполняют поэзию Уткина. Несколько расплывчатые в ранних стихотворениях, они постепенно приобретают четкость и реальные контуры. Романтическая окраска не уменьшает, а увеличивает их привлекательность, в особенности для юных читателей. Вспомним о комсомольце-партизане, герое гражданской войны, погибшем, «судьбу приемля, как подобает молодым: лицом вперед, обнявши землю, которой мы не отдадим!». Вспомним о «сунгарийском друге», с кем породнился в бою советский партизан «под единым знаменем идей».

Стихи этого ряда, вторя светловской «Гренаде», звучат сегодня так же злободневно, как звучали в дни их создания. Иным «гражданам вселенной» казались сомнительными строки Уткина о том, что в нашей семье «родину и матерей никто и никогда не забывает». Но на фронтах войны с немецко-фашистскими захватчиками бойцы повторяли эти строки как заветные. Они были по-своему призывными, мобилизующими, а не расслабляющими. Боевые по сути стихи

Уткина звали и зовут к постоянной готовности защищать достигнутое, отстоять завоеванное народом и для народа.

Други! Это не годится:
Чуть волна на горизонте —
Вы сейчас на квинту лица,
Весла к черту и — за зонтик...
Пусть волна поднимет лапу,
Пусть волна по веслам стукнет!..
Не смеяться и не плакать!
Песню,
Мужество
И руки!..

Так отвечал Уткин людям, поддавшимся чувству растерянности и уныния в период наших разного рода испытаний, трудностей, крутых исторических поворотов. Поэт в любую погоду мог провозгласить тост за ясное небо, за радость бытия, за море и скалы, «за девушек хороших, отдыхающих в Крыму». Он глубоко понимал действительную необходимость не только воспевать, но и лелеять и беречь родину советскую, землю нашей радости.

Пью за нас,
За наше время,
За созвездие Тельца!..
Пью за звезды, что на шлеме
У советского бойца!

А главная здравица, с которой Иосиф Уткин шел по своей гражданской и поэтической дороге,— это здравица в честь нашей великой страны:

С ее лугами-нивами,
С ее лесами, чащами
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы!

Призыв к защите социалистического отечества сочетался у Уткина с выражением собственной готовности сражаться и, если надо, умереть за него. Слова об этой готовности не были декларацией, они были голосом сердца. Уткин с первых дней Великой Отечественной войны оказался на огневой позиции. Принцип мужества, провозглашенный им в стихах, стал для него на фронте жизненным принципом.

Бойцы и командиры Брянского фронта не раз свидетельствовали о личной храбрости поэта-воина. Уткин перенес тяжелое ранение осколком вражеской мины. Поведением Уткина на фронте полностью подтверждено единство слова и дела. Недаром он давал боевую клятву верности народу, заключая ее такими словами:

А если я нарушу
Ту клятву, что даю,
И если я вдруг струшу
Перед врагом в бою,—

Суровой мерой мерьте
Позор моей вины:
Пусть покарает смертью
Меня закон войны!

Иосиф Уткин сдержал свою клятву, как и подобает поэту-патриоту. Стихом и кровью подтверждена она. Лишившись пальцев правой руки, Уткин был освобожден от службы в кадрах Советской Армии. Но он с неослабной энергией продолжал служить делу победы. Много писал и выступал в тылу и во фронтовой полосе. Упорной работой повышал он значение своего труда. Его стихи, написанные во время войны, показали новый уровень поэтической зрелости и самобытности.

Это прежде всего — «Старый партизан», «Дед», «Баллада о Заслонове».

Была ли у Иосифа Уткина переоценка самого себя, своих поэтических возможностей? Нет! Я уверен, что распространявшееся многими критиками мнение о байроническом высокомерии и самовлюбленности Уткина было ошибочным. *Позицию* достоинства люди, плохо знавшие поэта, путали с неподходящей *позой*.

Однажды в редакции «Комсомольской правды» Маяковский указал Уткину на недостатки его стихотворения, предназначенного к опубликованию. Маяковский при этом сказал, как бы он переделал стихотворение. Уткин заявил, что подождет печатать его, поблагодарил Владимира Владимировича за критику и совет, добавив:

— Попробую переделать так, как вы советуете. Только учтите, что вы ставите задачу по своему росту, а мой рост, как видите, пониже...

Так относился он и к товарищам одного с ним «роста», критиковавшим его работы по-товарищески.

Передо мною первая книга стихов Уткина. В дарственной надписи на ней, обращенной ко мне, говорится:

«Может быть, да и наверное, мы в драгоценностях новой литературы — скромные камни, бледные рубины. Но если даже и так, если я буду убежден, что мы что-то сделали, — я с благодарностью склоню перед судьбой счастливую голову. Как хорошо, что мы родились и живем в такую счастливую эпоху, как хорошо, что мы рядом и вместе слушаем и поем ее».

У кого может вызвать сомнение искренность этих слов, произнесенных не с трибуны, а за дружеским столом?!

Но самое большое чувство дружбы в годы войны Иосиф Уткин делил с защитниками родины, солдатами и офицерами. Свои последние стихи он читал воинам той самой части, в которой в 1941-м начинал боевой путь. Из-под Брянска передвинулась эта часть в 1944 году под Бухарест. Вместе с бойцами жил и шел вперед в течение трех с половиной лет и поэт-боец, оставшийся живым в поэтическом строю.



Уткин приехал в Москву во всем военном, еще не успел заработать на штатскую одежду,— и сразу пришел в редакцию «Правды». Его направили к Соне Виноградской, секретарю Марии Ильиничны. Уткин дал ей свои стихи.

— Прочитайте, пожалуйста,— застенчиво обратился он к ней,— и скажите свое мнение.

— Я, безусловно, прочитаю,— любезно ответила она,— а потом покажу еще авторитетному товарищу. Придите завтра за ответом.

В комнату заглянул Есенин.

— Посмотрите, пожалуйста,— сказала Соня, предлагая ему стихи.

Есенин вернул их с кислой миной.

— Ах, Сережа, вы, наверное, не так прочитали,— со слезинкой в голосе сказала Соня.— Прочитайте еще раз, пожалуйста...

Уткин не пришел ни завтра, ни послезавтра. И адреса своего не оставил. Да и какой тогда у него был адрес? Он и сам не мог бы сказать.

Наконец явился. У Виноградской сидел Есенин.

Первое, что сказала она Уткину: «Ваши стихи читал Сергей Александрович».

— Позвольте, Софушка, я сам скажу.— И Есенин признался, что стихи понравились.— А что вы еще написали? — спросил он Иосифа.

...Если судить по внешним признакам, у Уткина все было в ажуре, его считали счастливецом. Красив, спортивен, поэт и оратор, музыкант и певец,— по-видимому, недаром его вместе с Жаровым и Безыменским А. М. Горький в шутку называл «синодальным хором». И в бою и в жизни он не был «застенчив», напротив, чуть только слышит тревогу,— он уже среди борющихся. И все же и у него были слабости, и они были особенно заметны — ведь он был поэт. И слабость эта была своего рода сила: любовь. Любовь в обыкновенном житейском смысле слова, и потому, или, может быть, вернее, вопреки этому, как ни парадоксально, он был одинок и сердце его постоянно тосковало.

Знакомство Уткина с Есениным на этом не закончилось. Многие их объединяло, хотя и немалое отдаляло, но трагическую судьбу поэта-друга Уткин не отделял от эпохи, от героического народа, от своих соратников — передовых бойцов; напротив, он находил прямую связь с ними. «Я видел, как в атаках глотали под конец бесстрашные вояки трагический свинец. Они ли не рубили бездарную судьбу? Они ли не любили и землю и борьбу?» — спрашивал Уткин в слове, обращенном к Есенину.

Совсем недавно, накануне нового, 1968 года, я встретил сестру Есенина, Екатерину Александровну, и она вспомнила:

— Сергей утверждал, что в Ленинграде больше хороших поэтов, чем в Москве,— он имел в виду новых,

молодых. С появлением Уткина в Москве он изменил свое мнение. Брат любил поэму о рыжем Мотэле и часто цитировал ее. Когда заходила речь о девушке, которая долго не могла выйти замуж, он вспоминал слова Исайи: «Отцу хвалить не годится, но, другим не в укор, скажу: моя девица — девица до сих пор»...

Уткина хорошо встретили в московских редакциях, его стихи сразу же появились во многих журналах. Особенно часто можно было видеть его имя на страницах «Прожектора» и «Огонька». Его пригласили сотрудничать в многочисленных изданиях «Красной газеты» — и здесь, в столичном отделении, я был свидетелем его встречи с Маяковским.

— Комиссар Мотэле — родовитый сын черты оседлости, — сказал Владимир Владимирович. — Каким же образом вы из Сибири его узрели, а главное, поняли?

Успех не вскружил голову молодому поэту. Многие таланты быстро исчезали, угаснув, потому что не накопили знаний. Уткин считал, что должен учиться. Будучи студентом КИЖа (Коммунистического института журналистики), он принял приглашение Тараса Кострова — главного редактора «Комсомолки» — и возглавил литературный отдел газеты. Третий этаж дома № 4 по М. Черкасскому, где теперь Детгиз и где царит академическая тишина, в то время был самым оживленным литературным уголком Москвы. Обаяние Иосифа Павловича было велико, к нему в редакцию приходили известные литераторы, но печатал он, разумеется, не одних только «китов». Он первый оценил и напечатал светловскую «Гренаду», жаровскую «Гармонь». И «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого впервые появилась на «Литстранице» «Комсомольской правды».

К одаренным людям он относился бережно и всеми силами помогал их становлению. Без помощи Уткина и его серьезного и постоянного внимания тяжелее бы пришлось, вероятно, в жизни М. Светлову, Н. Ушакову, М. Исаковскому, В. Гусеву и многим другим. Очень трогательно и терпеливо Уткин относился к молодому прозаику Леве Бориллю. Где он нашел этого рыхлого, незащищенного, заморенного нуждой молодого человека? Бориль был образован, жаден к книгам, много и хорошо писал, но почти все уничтожал или терял. Он приходил к Уткину, разглаживал скомканные листы и читал. Голос у него — тонкий, немужественный, но читал он изящные новеллы. Уткин готов был их напечатать. Но Бориль забирал листы, обещая еще поработать. А потом приходил только затем, чтобы попросить немного бумаги, и приносил уже новые новеллы. Уткин хвалил, предлагал оставить. Но он говорил:

— Нет, я еще поработаю.

Однажды после его очередного появления Уткин, вздохнув, сказал:

— Ему бы милую старушку, как у меня.

«Милая старушка» — мать Иосифа Павловича.

За толстыми стеклами очков тихой радостью светились мудрые, добрые незрячие глаза матери. Кто хоть раз видел ее, мать Уткина, не забудет. Высокая, статная, с проседью в темных, густых волосах. Она сердцем и душой вобрала в себя мятежный дух сибирских каторжан, среди которых жила, и этот воинственный, революционный дух она привила своим детям. В годы первой мировой войны в Иркутске она стала организатором солдатских жен. Старшего ее сына сменовцы казнили, дочь Павла трагически погибла. Го-

ре выжгло Раисе Абрамовне зрение. Но духом она — все та же: сильная и голову держит высоко!

«Какое вы имеете право «вздыхать наедине»? — спрашивал Уткина «Новый Леф». — Если вы человек коммунистической культуры, то каждый вздох, каждую потяготу на усталость — несите под контроль. Вас «обдумают» и «починят вам нервы» и опять пустят в работу» (П. Незнамов. «Новый Леф», 1928, № 9).

Нелегко было выдержать подобные атаки. «Конечно, спасибо Анатолию Васильевичу и Алексею Максимовичу на добром слове, — говорил Уткин. — Но что значит — за моей спиной Горький, Луначарский? Предположим, за моей спиной боксер Градополов — мои удары станут сильнее? Допустим даже, если я буду драться в его перчатках? Чепуха! Самообман! Самообман одного ли человека или группы — принципиальной разницы я не вижу. Нельзя лгать. И в первую очередь самому себе».

При всех обстоятельствах Уткин высоко держал голову, предпочитая нападение — обороне.

После выступления в клубе на улице «Правды» почитатели Уткина обступили его кольцом. Протиснулся какой-то тип.

— Какая кошка пробежала между вами и Жаровым? — И, не дождавшись ответа, принялся чернить Жарова.

Я еще никогда не видел таким гневным Иосифа Павловича.

Он растолкал толпу, измерил типа презрительным взглядом.

Уткин был сильный, но надо знать, где применять свою силу. И он быстро опомнился, только побледнел и на носу ярче выступили веснушки. «Вы не знаете Жаро-

ва!» И он начал читать его стихи. А тот медленно отступал, прячась за спинами. Почитатели Уткина аплодировали стихам Жарова...

Да, правда, была размолвка — шумная, с треском. А как же иначе между соратниками? Но это была только личная размолвка. Они до конца остались верны знамени, которому присягали. В мужественную дружбу Уткина и Жарова вплелась неугасимая любовь Светлова. Он сам сказал об этом — и в стихах, которые посвятил Уткину и Жарову, и в тех коротких солнечных строках прозы, где выразил серьезные мысли и большие чувства, связанные с этой дружбой.

...Как-то Уткин застал меня дома за составлением головоломки. Это было, как сейчас сказали бы, мое «хобби».

— А вы знаете, какую трагическую историю напомнили мне? — сказал Уткин. — Я потом расскажу, заканчивайте свою работу.

Он вышел на балкон, понюхал цветы, но не сорвал, вернулся в комнату, взял со стола лист бумаги, начертил печатными буквами: «Случае ни в коем не срывать левкой».

— Ну? — начал он, видя, что я уже свободен. — Я обещал рассказать. Это произошло в Иркутске. Собирались шлепнуть своего же человека: отчаянно смелого командира. Враги оклеветали. В ожидании расстрела, сидя в одиночке, он сочинял... ребусы. Пришли товарищи и увидели его в тюремной камере за этим занятием. Очень удивились. Между ними состоялся диалог — совсем сократовский: «Нашел время, когда заниматься такими делами! На рассвете тебя расстреляют». — «Ну, вот видите, — завтра будет поздно»...

Он поднял с пола кубик с изображением арбуза и маленькой буквой «а». Это соседская девочка, играя, оставила у меня в комнате.

— Давайте поиграем,— подкинув кубик в воздух, сказал он, блеснув глазами.— На что эта буква похожа?

— На обезьянку, съезжившуюся обезьянку,— ответил я.

— А эта? Отвечайте сразу. Только не размазывайте образ.

Если я не отвечал сразу, через секунду уже говорил он. Мне очень понравилось, что в букве «з» он увидел «зануду». А кто такой «зануда»? Человек, который на вопрос, как живете, начинает рассказывать... В печатной «И» — портретное сходство с К. Р. — великим князем Константином Романовым с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо... И тут же вспомнил стихи К. Р.: «Гремите же, струны! Полна увлеченья, в честь жизни раздайся, о, песня моя!» Августейший начальник военно-учебных заведений, слывший поэтом, напомнил Уткину о других больших, современных «начальниках», поднявших перо для самовозвеличения. Геббельс писал романы, Муссолини — драмы. Очевидно, для них, шутил Уткин, придумана буква «н» — в ней — начало слова «нет», поэтому эта буква так похожа на лестницу славы, лестницу с одной только ступенькой на середине, ухватиться за нее едва мог только К. Р. — не столько благодаря таланту, сколько благодаря своему росту.

— А вот Пушкин,— сказал Уткин. И по его задумчивому выражению можно было видеть, как работала мысль, зрела новая идея. — Маленького роста... Мне показывали его жилетку: если бы сказали, что она принадлежала мальчику, я поверил бы скорее. — Глаза

просияли: выкристаллизовалась мысль. И, только сочинив, рассказал мне эту маленькую новеллу.

Нацокин балансировал со стулом. А на другой руке он держал Пушкина. Не сбалансировал, и стул упал.

— Но ты, братец, и меня мог уронить,— сказал Пушкин.

— Честь России? Ни в коем разе,— ответил Нацокин.

...Иосиф был очень музыкален. И владел многими инструментами. Особенно мне запомнился один вечер. Он брал в руки то банджо, то гитару — создавалось впечатление оркестра. Я слышал поступь Карменситы, стук кастаньет. Уткин показывал Испанию, которая раньше только мне снилась.

Иосиф внезапно прервал игру:

— Мама, вы устали от моей музыки?

Она ответила с горячностью и обидой:

— Ну что ты, Иосиф? Пожалуйста, играй.

Мне рассказывали, что знаменитый Сеговия, слушая игру Иосифа, высоко оценил ее:

— Артист!

— Атакующий! — сказал о нем знакомый генерал.

Да, в памяти всех нас, знавших Уткина, он остается атакующим. Таким был он и в Великую Отечественную войну.

Под Брянском, в районе Почепа, фашисты остервенело рвались вперед. Кто-то из наших дрогнул. Подался назад. За ним откатились и другие. Уткин с двумя политработниками останавливал бегущих. Из стога сена торчали чьи-то сапоги. Иосиф приказал разгрести сено. Вытащили до смерти испуганного бойца в очках.

— Я трус,— плачущим голосом сказал он,— вы рас-

стреляете меня?.. Поймите: всю жизнь имею дело только с книгой... Я учитель...

Уткин ответил:

— А я писатель. Всю жизнь имел дело с пером и бумагой. В строй!

Поэт и учитель пошли рядом. Уткин повел его вместе с другими солдатами в бой. Иосифа тяжело ранило... В своих военных дневниках В. Гроссман сделал поспешную запись о том, как усталая, давно не знавшая сна женщина-военврач рассказала об Уткине во время операции: «Я его режу, а он стихи мне читает».

После госпиталя, с рукой на перевязи, Уткин вернулся в Москву, но не пошел в свой опустевший дом: мать с младшей сестрой Августой Павловной нашли убежище в Средней Азии. Без многих людей, мне кажется, Уткин мог жить долго, но не без матери. Что бы он ни делал, мысли его были с нею. Рисуя Москву военных лет, он пишет: «Немало в столице я прожил, и трудно тебя мне узнать! Ты стала красивей и строже, как смерть повидавшая мать. В глазах еще отзвуки боли, суровый излом у бровей; но веет и силой и волей от русской печали твоей». Суровый излом у бровей!.. Веет силой и волей... Это и есть мать Уткина.

Мы встретились с ним в гостинице «Москва»; здесь была гавань, где Уткин, как и многие писатели, предпочел тогда бросить якорь. Иосиф Павлович постукивал по столу пальцами здоровой руки, вскакивал, менял место «приземления», говорил о наших общих друзьях, раскинутых войной, об их храбрости. «У Светлова нет ничего вымученного,— сказал он,— все естественно. Вслушайтесь в его интонации — музыка. Тончайшие, нежнейшие мелодии». Уткин все хотел представить себе Маяковского в дни войны. Как и прежде в

редакции «Комсомольской правды», называл его «Владимиром Необходимычем». И это не было игрой слов, это было естественно, как естественна была тоска без него.

Вошел Асеев. Весело жонглировал новыми рифмами. Все в нем улыбалось. Но вдруг резко изменился, потемнев лицом. Суровый, мимолетный взгляд на раненую руку Уткина, потом на мою госпитальную палочку. И заговорил щемящими сердце стихами: «Сколько было нас? Хлебников, Блок и Марина Цветаева, Маяковский, Есенин — всей певчей дружины число. Сколько светлых снегов, отсияв, уплыло и растаяло и по мелким ручьям в океан, в глубину унесло. Кем мы были? Цветами, листьями, зарницами, звездами, доказательством ваших, недаром промчавшихся лет, вашим отблеском, вашей мечтой, вашим будущим созданы...» Не простившись, ушел.

Иосиф Павлович открыл машинку. Уже был заложен маленький квадратик бумаги.

— Допишу последние строчки, — сказал он.

Стихотворение называлось «Михайловское». Бархатным, барским голосом, напоминавшим Качалова, он прочел эпиграф:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Свои же стихи прочитал с тихой напевностью, с какой-то приглушенной тоской. В строе его стиха нежные пушкинские интонации:

На столе пирог и кружка.
За окном метель метет.

Тихо русская старушка
Песню Пушкину поет.

Сколько раз уж песню эту
Довелось ему слышать!
Почему ж лица поэта
За ладонью не видеть?

Почему глаза он прячет:
Или очи режет свет?
Почему, как мальчик, плачет,
Песню слушая, поэт?..

Сколько раз я уже сам читал это стихотворение — Иосиф Павлович подарил мне машинописный текст, — и всегда за образом няни Пушкина вставала мать Уткина.

— Маму видел во сне: она нащупывала стены, пробираясь в мою комнату, — сказал он, — будить собиралась меня.

Явился Юрий Корольков. Я уезжал вместе с ним на фронт, в газету, которую он редактировал. Иосиф, легкий, в накинутой на плечи шинели, выскочил нас проводить. У подъезда гостиницы ветер нес по земле сухой, жесткий снег. Поземка. Машина увозила нас, а Иосиф все еще стоял и, грустно улыбаясь, махал рукой. Потом — сквозь пелену туманов, в косых полосах дождя, в дыму пожаров, во сне и наяву — я еще очень-очень долго видел его таким...

Уткина тяготило пребывание в тылу. С большим трудом он добился отправки на фронт. А в Москве ожидался в свет его новый сборник. И осенью 1944 года вышла эта маленькая книжечка, уместившаяся в ладони, любовно изданная, — «О родине. О дружбе. О любви». Это был итог работы Уткина в поэзии за двадцать лет (ес-

ли не считать стихи, хранившиеся в ящичке письменного стола). И вдруг в газете, которой был отдан весь жар молодого сердца, он прочел о себе и только что изданной книге статью. Нет, это была не статья, а пасквиль. Уткин рванулся в Москву.

Над Москвой и Подмосковьем — метель. Аэродромы не принимают; в Щелкове, несмотря на запрет, летчик Шевченко повел «дуглас» на посадку. И — катастрофа.

В этот день я прибыл с фронта. Узнав о трагедии, я уже не пошел домой — помчался в Лаврушинский, к Уткиным. Там все было удивительно мирно. Раиса Абрамовна сидела на диване, наклонившись к приемнику; сестры Иосифа собирали остатки пайка на стол. Впервые в жизни я не мог никому из них прямо посмотреть в глаза. «Стою в смятении у порога и не могу переступить. Что мне сказать им... ради бога! С чего начать... Как приступить? Нелегкий труд и в самом деле сказать им: вы осиротели». Подумать только: это написал сам И. Уткин.

— Наци войска, — сказала Раиса Абрамовна, — приближаются к вражескому логову. Значит, все скоро кончится, и Иосиф будет дома! Уже осталось ждать недолго...

Голос как в тумане...

Уже после похорон я опять пришел в дом Уткина.

— От Иосифа телеграмма...

Я понял, что она ничего не знает! Она позвала дочь:

— Гутя, прочти еще раз телеграмму Иосифа.

Раиса Абрамовна вся какая-то праздничная, счастливая. Августа Павловна держит на весу руку, и я должен вместе со слепой Раисой Абрамовной поверить, в то, что в ее руке телеграмма! В глазах у Гути слезы, но она бодро читает: «Обнимаю, целую мою милую

старушку. Иосиф». Я понимаю: решено матери о трагедии не говорить. Пусть она доживает свой век с верой в живого сына. Трудно судить, правильно ли это. Но разве от матери можно скрыть что-нибудь? Сердцем, мне кажется, она чувствует, что какая-то неправда окружает ее. Я выхожу из подъезда. Все перед глазами кажется нереальным. Думаю о матери Иосифа. Всплывает ее лицо: скорбное и тревожное.

— Где квартира Уткина? — слышу я.

Очнувшись, я увидел солдата, он обращался ко мне:

— Я пригнал из Бухареста машину. Трофейная. Командование фронта послало в подарок товарищу Уткину.— И он указал на сверкающий черным лаком «опель-адмирал».

...Как заходить теперь в дом осиротевших женщин, смотреть в глаза, даже незрячие, Раисы Абрамовны? А сердце упрямо вело знакомой дорогой в дом друга...

Когда предполагалась передача об Уткине на радио, Августа Павловна умышленно что-то сломала в приемнике.

— Ты что-нибудь понимаешь в этом? — с надеждой спрашивала меня Раиса Абрамовна.

Для нее это было трагедией — оборвалась единственная связь с Иосифом, как ей казалось. «Но ничем себя не выдаст скорбь согбенная твоя. Разве только вздохом слабым облегчит немного грудь — все, в чем родина могла бы мать солдата упрекнуть». И это предвидел сам Иосиф!

Уже кончилась война, вражеские знамена вповалку лежали у Мавзолея, все, кто остался жив, встретились со своим домом, с семьей, с любимой... А Иосиф...

— У него особое задание, — говорила она мне. — От него зависит прочность мира, добытого такой дорогой

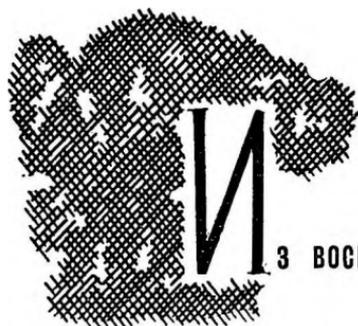
ценой. Он колесил по Европе, а теперь пересек океан. Вот видишь, дипломатом стал. Как и Тютчев... На такую должность, должно быть, не каждого назначают. Иосифу оказана честь.

Мы, близкие ее, собрались в ее доме, который числился домом Иосифа. Ее минуты были сочтены. Дочери, родственники были в других комнатах. А я остался здесь, в кабинете Иосифа. И видел, как она тихо отходила, лежа на кушетке. Не было еще ни криков, ни слез. Одно горькое молчание. В то, что вдруг случилось, если бы это не было на моих глазах, а кто-нибудь другой рассказал, я не поверил бы. Раиса Абрамовна поднялась. В длинной белой ночной рубаше. И пошла по направлению к окну, где в углу на рояле в рамке стоял портрет Иосифа. Она схватила портрет, прижала к сердцу, к губам, потом поставила на место. И это было все...
Конец.

Ее, «седенькую героиню», похоронили на Новодевичьем в одной с сыном могиле... И каждый раз, проходя сюда, чтобы поклониться Раисе Абрамовне и Уткину, я вспоминаю его слова: «Тот, кто любит мать, наверно, любит родину свою!»

Иван КОЗЛОВСКИЙ,

Народный артист СССР



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Был на вечере, посвященном 75-летию К. Г. Паустовского... Вдохновенно и искренне говорили о совести, о гражданственности, о мастерстве. Пели вещи, любимые Константином Георгиевичем... Я думал: не будь трагического случая, был бы сейчас среди нас Иосиф Уткин — красивый, сильный, талантливый и неподкупный.

Время — этот великий испытатель — с большой остротой дает ощутить, что было в нашем обществе ценным, показательным и что — быстропреходящим, поглощаемым медленной Летой. На всех праздниках искусства, поэзии как бы незримо присутствует Уткин. И если бы он был среди нас сегодня, он многому бы порадовался. Как он в начале войны, с болью и горечью называя очень авторитетные имена, возмущался недальновидностью, сановностью и ленью... И ведь многие его предсказания сбылись.

Двадцатые годы. Квартира А. В. Луначарского. Здесь Александр Жаров, Безыменский, Маяковский, Алтаузен, Асеев и в «байронке» — Уткин. Штаны неведомо какие, но отглаженный воротник сорочки, шевелюра

черных волос... Ему сразу хотелось быть взрослым, и для этого имелись основания — в кругу людей, о которых говорилось, и в кругу таких мастеров, как И. Москвин, М. Чехов, В. Качалов, Анатолий Васильевич Луначарский восхищался «Рыжим Мотэле».

Было и такое — возможность поединка из-за престлестницы; с рапирой в руке на одной стороне Иосиф, на другой — я. Меня научила профессия стреляться, падать, умирать, потом — подниматься. Иосифу же была свойственна сибирская удаля. И пусть чувство любви к «ней» ни с чем не сравнимо, но как все эти годы не хватает Уткина среди нас!

Уткин тяготел к классической музыке. И любил гитару. Было и так. Сам он не мог играть на гитаре и приводил с собой гитариста. Я, будучи уверенным, что обществу наше будет состоять из троих — она, одухотворенная Л., Иосиф и я, шел храбро на эту встречу. Придя, увидел Иосифа, Л. и гитару. Ну, думаю, состязание возможно. Пристально рассматриваю гитару, вижу — гитара не семиструнная, а шестиструнная. Уже осложнение. Отворяется дверь, и входит гитарист, он же и певец — артист Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, правда, баритон. Во всем виден предусмотрительный и умный Уткин. Ну раз так, значит, надо лишить Иосифа права читать стихи. Почестному. На равных...

Общеизвестны его поединки на бильярдном поле с Маяковским. Игра велась и на погашение счетов за квартиру, и на отдачу долга и т. д. Проигрывать не любили ни тот, ни другой. Но выдержкой и тактом обладал значительно больше Иосиф Уткин.

Мисхор в двадцатые годы был непохож на нынешний: отсутствовала современная перегруженность

«культурой» — никаких тентов, лежаков. Была одна длинная скамейка, на которой по вечерам располагалось человек двадцать (больше она не вмещала), остальные — и при луне и при солнце — сидели на гальке. Но повести звучали необычные!..

Конечно, была гитара и была фанера. Это было обязательно для каждого — на фанере станцевать чечетку. Конечно, Иосиф не был исключением. Делал он это вначале застенчиво, потом показывал лихую удаль.

Был он замечательным пловцом, и плавал в такие дали, что бывал невидим. Обидно, что удаль его утрачивалась в нашем ощущении — чем больше удали в море, тем меньше ее чувствуешь на берегу. Мы уже возвращались с обеда, а он — с моря. И триумфа не было. Что-то схожее с этим было и в творческом труде. Он мало был обласкан, хотя ни в какие «греховности» не впадал. В юные годы была «байроновская» грусть — стремление быть таким, но что-то осталось, может быть, неожиданно и для него и для окружающих, и в зрелые годы.

Я не знаю, кому принадлежит название оперы — «Вышка Октября». На сцене были вышки, добывающие нефть, неизбежные вредители в зеленых очках, выезжала на сцену машина — «газик», в те годы знамение времени. Были одобрительные аплодисменты в зрительном зале.

В этой опере принимали участие Батурин, Максимова, Алексеев и др. Ставил спектакль Тициан Шарашидзе, дирижировал Небольсин. Музыка Б. Яворского — профессиональна.

Было странно смотреть, когда Иосиф Уткин сидел рядом с режиссером на сцене, в неизменной «байронке».

Восседать на командном месте на сцене Большого театра юному иркутскому пареньку, видеть восторженные глаза участников и неучастников балета и хора — не просто. Оттого он был подчеркнута сосредоточен и очень ценил свои слова,— случалось, они бывали не к месту... Но его внешность и доброта, его поведение делали атмосферу приподнятой и доброжелательной. Его стремлением было — научить и самому учиться.

Это была эпоха исканий, и поиски новой формы ощущались очень остро, хотя в театре были люди, которые сразу заняли позицию «моя хата с краю», — по существу, они считали, что не дело оперы — брать сегодняшнюю тему в таком натуральном толковании. Каждое искусство имеет свои непреклонные законы и каноны. И они-то по сути не могли вместить в свои рамки так просто тему. Иосиф Уткин понимал, что в опере основная драматургия — в звучании и современная тема может оказаться слишком поспешной. Оттого он не переживал трагически, когда спектакль, автором либретто которого он был, не удержался.

Если Павел Васильев кричал: «Не надо петь моих стихов, не надо!», то Уткин не скрывал, что ему приятно, когда стихи его звучат в музыке.

Подари мне на прощанье
Пару милых пустяков —
Папирос хороших, чайник,
Томик пушкинских стихов...

Музыку написал Половинкин. Я пел этот романс, как и другие, например «Шел солдат с фронта». На его стихи писали музыку многие — Давиденко, Половинкин, Блантер...

Воздушные налеты на Москву. Двор МГУ. Я приехал из Куйбышева по вызову на несколько дней. Иосиф Уткин — с рукой на перевязи, в пилотке. Он ходил в черной перчатке и, хоть было жарко, ее не снимал. Страшно. Но тогда, чтобы не уходить в убежище, мы выходили во двор, в садик МГУ. Там лежали бревна. И вот, сидя на них, мы мечтали, что будет после войны. Он читал стихи, говорил, что нужно сделать так, чтобы жизнь была прекрасна — человек удивительно устроен.

Примерно в этот же период, когда Москва была в значительной части эвакуирована, он принес мне в гостиницу «Националь», где я в то время жил, посвященные мне стихи — «Папираса»:

Дорогой Ваня!

Тебе, кажется, очень понравились эти стихи. Если это действительно так, то думаю, ты не возразишь против того, чтобы они были посвящены тебе твоим старым товарищем.

В память обманувшей нас юности нашей и вопреки коварному равнодушию и самосудам над искусством я и посвящаю тебе эти стихи.

Иосиф Уткин

18/7. 1943 г.

Вот на что это похоже,
Если правду говорить.
...Улыбнулся мне прохожий:
— Разрешите прикурить?

Папираса к папиресе,
Общей страсти уголек,
Никаких тебе вопросов,
Каждый каждому далек.

Ни о чем не говорили
(Такова прохожих жизнь).
Улыбнулись, прикурили
И с улыбкой разошлись.

Вот и ты в какой-то вечер,
Если правду говорить,
Улыбнулась мне при встрече:
— Разрешите прикурить?

Папироса к папиресе,
Общей страсти уголек,
Никаких тебе вопросов,
Каждый каждому далек.

Не страдали, не корили
(Такова прохожих жизнь),
Улыбнулись, прикурили
И навеки разошлись.

На прощании с Уткиным, уже лежащим на смертном одре, на гражданской панихиде, с любовью выступал И. Эренбург. Я пел «Смерть» Бетховена («Время мчится, вечность ждет...») на слова Гёте.

Родные и близкие прощались с ним — в то время в Москве их было немного. Какой он был красивый! Если бы он сам мог вмешаться в эти печальные неизбежности, он бы воскликнул: «Только сделайте так, чтобы у меня был приличный вид!» Эстетическое чувство его никогда не покидало.

Суть в том, что сам Уткин не воскликнул, как в свое время Чехов, что после смерти его читать будут недолго. Но сегодня мы читаем и вспоминаем Иосифа Уткина. И, думается мне, будем долго, долго вспоминать его как поэта, как представителя эпохи, в которую он жил, как вдохновенного мастера.



Мой друг Уткин

Неужели уже прошло почти четверть века с того холодного ветреного дня, когда в могилу Новодевичьего кладбища мы опустили прах друга, ставшего жертвой нелепой авиационной катастрофы, и каждый из нас вслух или про себя сказал ему последнее «прости»?

Незадолго до этого дня мы шли по Москве, и он сказал мне, что ему надо слетать на короткий срок в Румынию, где закончились его военные странствия и где остались его фронтовые дневники. Иосиф был полон планов на будущее, казавшееся ему прекрасным после победы, завоеванной и его кровью. Ни ноты уныния в связи с своим увечьем — искалеченной рукой!..

Мой быт после возвращения в Москву в 1944 году был очень трудным. Ловкие жулики въехали во время войны в мою квартиру, и мне предстояло остаться на улице. Квартирные суды были в те дни рядовым явлением, мне они стоили здоровья. И это в квартире Уткина в Лаврушинском переулке я писал на его большом «Континентале» разные письма в суды руками, дрожащими от усталости и волнения. Почему я рассказываю об этом? Да потому, что силу дружбы, заботы и

внимания Иосифа Уткина и в дни удач, и в трудные дни постиг не я один. Я и сейчас слышу его ласковый голос: «Приходите ко мне в любом настроении — хорошем или дурном, со звонком или без звонка».

Дружбе посвятил Уткин много строк стихов. Он умел дружить и очень болезненно воспринимал отход от него некоторых товарищей. Некоторым он казался слишком гордым, даже заносчивым, даже высокомерным. Ничего этого не было. Но тем, кто привык быть с каждым запанибрата, невдомек было, что уткинская гордость была защитной маской своей индивидуальности, своего достоинства, своего таланта. Он нередко повторял, что «дружба — это сочетание сильных и благородных черт двух товарищей, а не взаимное всепрощение слабостей и недостатков».

Известно, что успех его поэзии был огромным. Его поэмой «Повесть о рыжем Мотэле» восхищались люди разных вкусов — Луначарский, Маяковский, Сельвинский. Строфы «Мотэле» сразу стали крылатыми, а поэма — стала в ряд прославленных эпических произведений двадцатых годов: «Двенадцать», «Улялаевщина», «Хорошо». Нравилась публике, конечно, и задушевная лирика Уткина — и любовная, и та, где едва ли не впервые в советской поэзии гражданская война нашла реалистическое отражение. Уткин нравился не только любителям поэзии, но и поэтам и оказывал на них влияние. На что уж, кажется, далек от Уткина — по первому впечатлению — такой поэт, как Павел Васильев. Но я дружил с Павлом и прекрасно помню, что он читал мне наизусть много стихов Уткина, например:

На Карпатах,
На Карпатах,
Под австрийский

театроведа. Он просил меня обождать в приемной, пока он продиктует письма секретарю.

Когда я вышел из кабинета Луначарского, к нему вошел Уткин, которого я узнал по портрету, приложенному к его первой книге стихов. Уткин недолго задержался у Анатолия Васильевича и вышел из его кабинета вместе с секретаршей, передавшей мне три письма Луначарского. Он сразу подошел ко мне и представился. Вероятно, Луначарский сказал ему обо мне или диктовал свои рекомендации в его присутствии. С места в карьер Иосиф Павлович предложил мне сотрудничать в «Литературной странице» газеты «Комсомольская правда». Больше того, ему не захотелось со мной расстаться.

— Пойдемте к нам сейчас, если у вас нет неотложного дела. Это недалеко отсюда, в Черкасском переулке.

С Чистых прудов мы вместе пошли по улице Кирова, тогда переименованной из Мясницкой в улицу 1-го Мая, и, миновав Лубянку, поднялись на четвертый этаж дома, где помещалась редакция. И вот мы в комнате с дугообразными окнами, куда нередко заходил В. Маяковский. По правую руку от двери за крошечным столиком я увидел смуглого юношу с пышными черными, зачесанными назад волосами.

— Джек Алтаузен, секретарь «Литературной страницы», — представил Уткин своего оруженосца тех дней. Назвав меня, Иосиф Павлович сказал Алтаузену, что Анатолий Васильевич рекомендует меня «Комсомольской правде».

Мы сразу определили тему моего первого выступления в «Литературной странице»: трудности, которые испытывают передовые деятели кинематографа, живо-

писи, литературы Франции. Мой рассказ, основанный на фактах, назывался «Забавляйтесь про себя» и понравился редакции; несколько позже его достоинства отметил М. Горький. Я стал постоянным сотрудником «Литстраницы».

С памятного весеннего дня я начал часто встречаться с Уткиным, большей частью у него дома: в Гранатном переулке, в начале Арбата, на Тверском бульваре, 25, и, наконец, в Лаврушинском переулке — с 1927 года до рокового 1944-го... Постепенно я вошел в его внутренний мир, в круг его интересов, чаяний, радостей и обид. Да, случались — и нередко — обиды!

Положение Уткина в литературе было, несмотря на большой успех у читателей, сложным. На поэта наклеили ярлык «мещанство», варьируя его на все лады. Как проявление мещанства приводилось его стихотворение «Гитара» — к чести А. Жарова, он мужественно принял посвящение этих стихов. Любопытно, что, когда однажды я смотрел с Уткиным фильм «Мы из Кронштадта», где герой фильма появляется с гитарой, Уткин, наклонившись ко мне, тихо сказал: «Видите мою гитару? Вишневному можно, а мне нельзя?» Не по вкусу была и «поэзия девичьих кос» — немодных в те годы у молодежи. Случалось и мне на том или ином собрании поднять голос за поэзию Уткина, против несправедливого отношения к поэту. Что ж, и мне попадало за это... У иных проскальзывало недоверчивое отношение даже к его упоминаниям об участии в партизанском движении. Но мне пришлось однажды быть на каком-то семейном торжестве у Уткиных, и я оказался за столом рядом с мужественным человеком, командовавшим партизанским отрядом, в боевых действиях которого

Уткин принимал участие и действительно был ранен.

Нечего и говорить, что такое отношение к Уткину не могло не раздражать его, хотя он предпочитал полемике гордое молчание. Да и слишком разительным был контраст между оценками А. В. Луначарского и иных критиков. У Уткина были все основания для раздражения, но он умел, что называется, скрывать свои настроения при людях, и, видя его, подтянутого, элегантного, любящего шутку, подчас трудно было догадаться, что у него на душе кошки скребут. Он не оставлял многих своих увлечений — бильярда, музыки. Он продолжал с успехом выступать в Москве и в крупных городах, оставался кумиром аудиторий, а читал свои стихи Уткин просто, но с такой силой убежденности, что они захватывали аудиторию. Популярный в те годы мастер художественного чтения Николай Першин говорил мне, что в сборной программе концерта он соглашался выступать после любой знаменитости, но только не после Уткина — боялся провала. Надо, однако, сказать, что булавочные уколы, мешая Уткину жить и работать, не могли парализовать ни его поэтического труда, ни его общественной деятельности, широкой и плодотворной.

Уткин продолжал отлично вести «Литературную страницу», поддерживаемый талантливыми редакторами «Комсомольской правды». Как известно, с «Лит-страницы», опубликовавшей «Думу про Опанаса» и «Гренаду», пришла слава к Багрицкому и Светлову. К столу Уткина в редакции — простому, канцелярскому, без мраморного прибора и прочих украшений, — подходили всё новые и новые молодые люди, которым впоследствии предстояло стать известными. Так, я

помню впервые пришедшего в редакцию смущающегося десятиклассника Виктора Гусева, принесшего Уткину «Звезду моего деда».

С той же широтой взглядов на поэзию, с тем же безошибочным чутьем к одаренности руководил Уткин отделом поэзии Государственного издательства художественной литературы, и к этому человеку, умевшему высоко держать знамя советской поэзии, с огромным уважением относились все руководители издательства — академик И. К. Луппол, Н. Н. Накоряков и другие. Редакторами в отделе поэзии были известные поэты — В. Казин, М. Зенкевич. Близкое участие в работе отдела принимал литературовед А. Волков. В этот период в Гослитиздате вышел и мой сборник лирики «Закон тяготения» (1936): должен сказать, что я как лирический поэт в этой книге был похож на себя. У поэтов подчас выходили книги, за пределами которых оказывались лучшие и характернейшие стихи. При Уткине этого не случалось.

Так, между трудами поэтическими и редакционными, шла жизнь Уткина. Все, казалось, было у него внешне благополучно, если исключить наскоки критики и личные дела (это тема особая, хотя неблагоприятие в личных делах поэта чувствует каждый внимательный его читатель — припомним хотя бы те стихи поэта, из которых взяты эти строки: «Резко обозначена граница счастья твоего и моего», «Все, что было, разделили, разломали пополам» и т. д.). Так вот, несмотря на внешнее благополучие, мне и другим его близким друзьям нередко приходилось видеть Уткина озабоченным, нервным, удрученным.

Не клеилась поэма «Милое детство», над которой он работал ряд лет, несмотря на ювелирную отточенность

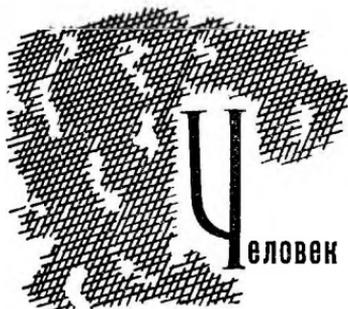
деталей и яркие штрихи; работа продвигалась туго, и месяцы отделяли одну главу от другой. Причина была, сдаётся мне, в том, что в сюжете отсутствовало динамическое начало, которое позволило бы развернуть повествование.

Зато как радовался наш друг удачам своих коротких стихотворений в эпическом жанре, над которыми он яростно трудился, — «Песня о пастушке», «Народная песня», превосходная «Тройка», восходящая к традициям русской классической поэзии, и особенно «Мальчишку шлепнули в Иркутске...». Уткин медленно читал свои стихи друзьям и заканчивал вопросом: «Чисто?» Он очень любил это слово — недаром в этой «Комсомольской песне»: «Как жемчуга на чистом блюде, блестя зубы у него!» Сам Уткин был красивым и чистым человеком. Случайно я присутствовал при разговоре, происходившем между Уткиным и Матвеем Блантером, написавшим песню на слова «Мальчишку шлепнули в Иркутске...». Речь шла о практической стороне дела. Гонорар поэту Музгиз оплачивал только в том случае, если после появления стихов в печати автор вносил хотя бы незначительные исправления в текст. Конечно, Матвей Блантер был далек от того, чтобы уговаривать Уткина. Но все же?.. Хотя Уткин не был богат и подчас, я это знаю, ему нужны были и небольшие деньги, но, конечно, он не мог и подумать о том, чтобы изменить хотя бы слово в законченном стихотворении.

Заканчивая свои краткие воспоминания о друге, я вновь возвращаюсь к траурным дням 1944 года. Гражданская панихида. Выступает Илья Григорьевич Эренбург. И я вспомнил, как Илья Григорьевич в 1926 году

в Париже расспрашивал меня об Уткине, творческую оригинальность которого Эренбург сразу почувствовал, прочтя отрывок из «Мотэля» в одном из еженедельников. А сейчас Эренбург очень взволнованно говорил о своем фронтовом товарище и читал у гроба замечательное стихотворение Уткина «Беженцы» («Вся жизнь на маленьком возке!..»)..

Лермонтов был любимым поэтом Иосифа Уткина. Джек Алтаузен рассказывал мне, что впервые увидел Иосифа Уткина с томом Лермонтова в руках. И мертвого Уткина нашли на поле военного аэродрома с Лермонтовым в руке.



Человек из сказки

В начале тридцатых годов в Харьков, где я тогда учился, очень часто приезжали московские поэты. Для нас, студентов, такие приезды были настоящими праздниками. Молодежь в те времена жила поэзией в не меньшей, если не в большей степени, чем сейчас... Только что ушел от нас Маяковский — властитель наших дум и чувств. И нет ничего удивительного, что особое предпочтение мы отдавали тем поэтам, которые в нашем представлении являлись его ближайшими соратниками.

В таком ореоле представал перед нами прежде всего Николай Асеев. В 1934 году он дважды посетил наш город. И не один. Каждый раз он приезжал с двумя поэтами — Кирсановым и Уткиным. «Ну, Кирсанов, — думали мы, — дело понятное. С кем же Асееву еще приезжать, как не с Кирсановым! Но вот Уткин...» Насколько нам помнилось, Уткин никогда не был связан с лефами вообще, с Маяковским и Асеевым в частности. И афиша об их совместном выступлении нас удивляла и интриговала.

На правах «старого знакомого» я пошел к Николаю

Николаевичу в гостиницу «Красная», где он обычно останавливался. Асеев — с перевязанным горлом — говорил шепотом: простудился. А вечером — выступление. Вот и надо поберечь горло. В том же номере — Семен Кирсанов. Уткин — в соседнем номере, но он куда-то ушел... Мы беседуем о харьковских литературных делах. Я спрашиваю о новых вещах, привезенных поэтами. Асеев с гордостью говорит о поэме Кирсанова «Робот» и очень хвалит ее. Это было отличительной чертой Асеева — радоваться успеху другого поэта, всячески хвалить его, если он того заслуживал.

— Поэма — во! — говорит Асеев и поднимает большой палец. И счастливо при этом улыбается, ласково глядя на автора. Потом, забыв о простуженном горле, начинает читать наизусть:

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего...
Как жемчуга на чистом блюде,
Блестели зубы у него...

...Когда смолкает город сонный,
И на дела выходит вор,
В одной рубашке и кальсонах
Его ввели в тюремный двор...

Когда Асеев произносил последние слова стихотворения, он заграбастал перед собой воздух, показывая, как «лицом вперед» упал мальчишка, «обнявши землю».

— Вот стихи так стихи! — воскликнул он с такой гордостью, будто сам написал их.

Мне стихи тоже очень понравились, но я не знал, кому приписать их — Асееву? Кирсанову?

— Это недавние стихи Уткина. Честное слово, он сейчас — великолепный поэт.

Вскоре в номер вошел и сам автор «Повести о рыжем Мотэле» и только что прочитанных Асеевым строф. До тех пор я его никогда не видел. Знал его по стихам и портретам. А тут — живой Уткин, да еще какой — красавец! И вот с того вечера, где бы ни выступали три поэта, — я обязательно присутствовал на их выступлениях. Ездил за ними на далекие рабочие окраины, в заводские клубы, в институты. Мне страшно нравились их вечера. Нравилась их манера держать себя на эстраде — непринужденная, естественная и вместе с тем артистическая. Нравился удивительный контакт с аудиторией. Нравилось то, что вечера их всегда проходили очень весело, живо, свободно. Это была та школа произносимого, звучащего поэтического слова, которую утвердил в нашей поэзии Маяковский. И стихи Уткина, его манера читать их несколько не противоречили этой школе, а неожиданно дополняли и развивали ее.

Помню, он отлично читал тогда отрывки из «Милого детства», стихи — «Ехал поп по улице», «Откровенность», «Разлука», «Соль» и другие. Асеев выступал по-своему, Кирсанов — по-своему. Уткин — по-своему. Никто из них не мешал друг другу. Каждый оставался самим собой. А вечер в целом получался единым, стройным. Стихотворение о попе, везшем в своем тарантасе оружие для бандитов, сплошь построено на разговорных интонациях с широким использованием подслушанной в жизни лексики:

— На заборе про актрис
Интересно пишут...
Ну-ка, батя, становись,
Почитай афишу!..

По Кузнецкой улице
Поп лежит на улице.

А на гору акkurat
Подымается отряд.

Асеев говорил тогда:

— Вот рифма: «улице — улице». Казалось бы, тождество. Ан нет! Тождественная рифма усиливает стих в данном случае, по смыслу она не тождественная! Это нарочно здесь срифмовано два одинаковых слова. Стих от этого трагичнее, суровее, до обнаженности проще!

С первого же раза, по слуху, запомнились на всю жизнь строки из «Милого детства»:

Друг произнес
Знаменитую речь:
— Гад на гаде,
Два гада — рядом,
Гадов поджечь,
Гадов пожечь,
Будь я
Гадом!

В первый приезд Уткина мы сблизились, он проявил интерес к моим стихам. Ему нравилась «Песня о варениках с вишнями», которая была тогда напечатана в «Новом мире». «Поздравляю. Вот вы и сумели написать настоящие стихи», — говорил он, перелистывая свежий номер журнала. В следующий приезд он послал за мной гостиничного посыльного. Тогда в Харькове такие посыльные назывались «красные шапки» — из-за красного околышка на фуражках. В записке Уткин просил прийти в гостиницу в любое удобное для меня время. Я, конечно, сразу же помчался к нему. Он лежал в постели.

— Больны?

— Да нет, просто вставать не хочется. Какая-то усталость...

На тумбочке у кровати — только что вышедшая книжка Ярослава Смелякова «Дорога», изданная «Библиотечкой «Огонька».

— Здесь есть одно прекрасное стихотворение — о старушке на Арбате.

Потом он заговорил о том, что написать поэму — это величайшее событие для поэта. Вопрос о поэме все время мучил его. Чувствовалось, что после «Мотэля» ему хочется создать еще одну непреходящую большую вещь. «Милым детством» он тогда был еще не особенно доволен. Он встал, подошел к зеркалу, щеткой расчесал свои великолепные черные волосы. Оделся. Сел на диванчик, попросил прочесть что-то новое. Я прочел стихи о том, как я изучаю «Анти-Дюринг». В стихотворении был один неслучайный эпитет по отношению к Дюрингу. Это вызвало возражение Уткина:

— Не надо так. Дюринг — по тому времени — немалый философ. То, что он был идеалистом, еще не дает основания для оскорблений.

Мы вышли из гостиницы и пошли по Сумской улице вверх. Вечерело. Снежные сугробы отливали синевой. Уткин в легоньких туфлях ступал впереди, любуясь зимним парком. Иногда путь нам пересекали лыжники. Снег в лыжне был совершенно другого оттенка, чем в сугробах. Эту прогулку я вспомнил много лет спустя, когда встретился с Иосифом Павловичем в Москве, во время Великой Отечественной войны. Мы вместе выходили из здания ГлавПУРККА на Гоголевском бульваре. Деревья были сплошь в инее. Гоголь, сторбившись под тяжестью снега, сидел на своем пьедестале. Несколько красноармейцев на лыжах пронеслись нам

навстречу. Иосиф Павлович, вернувшийся тогда в Москву с фронта без кисти руки, был все таким же красивым, молодым, задумчивым. Он говорил, что у него готова новая книга стихов — «Русская сказка», и пригласил на свой вечер в Доме литераторов.

Вечер происходил в комнате с камином на втором этаже. В камине пылала поленья. Они уже рассыпались на огненные куски, образовав сказочный городок. Стоявший у камина Л. Е. Рубинштейн заметил:

— У Бунина где-то сказано, что горящие дрова напоминают фантастический узор русской сказки...

Уткин начал читать стихи, стоя спиной к камину. Ему стало жарко, он отошел в сторонку, улыбнувшись:

— Горение внешнее и внутреннее...

Сидевший передо мной Л. И. Славин заметил своему соседу по поводу одной уткинской строчки:

— Так нельзя сказать об улыбке — что значит «зубки показал»? Что он, к дантисту пришел? А все-таки поэт, настоящий поэт!

Уткин читал стихи о русской сказке, о русской природе, о зимнем пейзаже, о снеге, об инее, о лыжах и елочках, запущенных снегом... И сам он казался мне человеком из сказки, из самой задушевной русской сказки непередаваемой красоты.



З а одним столом

На титульном листе «Избранных стихов» Иосифа Уткина 1936 года очень для меня дорогие, по-уткински нежные строки автографа: «Милому Анатолию, обнимаю. Иосиф».

Эти строки возвращают мою память в те далекие годы, когда мы с Иосифом Павловичем работали в одном издательстве, в одном секторе, как тогда называлась редакция, и даже за одним письменным столом...

В 1935 году, после окончания аспирантуры, я поступил в Гослитиздат редактором сектора литературоведения и критики, а так как Иосиф Уткин работал редактором сектора поэзии, то наше знакомство произошло как-то автоматически на одном из совещаний у главного редактора. Во время доклада Ивана Капитоновича Лупшолола мы, сидевшие рядом, обменялись «по ходу действия» мимолетными впечатлениями. По метким репликам, которые он бросал, я убедился, что Уткин хорошо знал сотрудников издательства.

Так, без всякого «представления», состоялось наше знакомство.

Несколько дней спустя, встретив меня на лестнице,

Иосиф Павлович спросил, не я ли автор рецензии на сборник «Писатели — ударникам», в свое время опубликованной в журнале «Литература и искусство». Поскольку в этой рецензии довольно критически оценивалось стихотворение Уткина «О московских рудокопах, каширских рабочих и социализме», я неохотно признался, смутился и ждал «ответного удара». Но совершенно неожиданно для меня Уткин сказал:

— Правильно критиковали. Это проходное стихотворение. Я не люблю писать по специальному заказу, а получилось нечто вроде этого. Составители сборника обратились ко мне, и неудобно было отказать. — Затем шутливо добавил: — Подумали бы, что Уткин, удобно расположившись на мелкобуржуазных позициях, не хочет перестраиваться...

Я улыбнулся. Уткин на это реагировал:

— Вы улыбаетесь сейчас, а я улыбнулся тогда, когда вы взвалили на мою хрупкую совесть тяжесть погрешностей.

К моему удивлению, Уткин запомнил не только мою фразу о недостатках, оставляемых «на совести автора», но и сами недостатки. Во время этой беседы, начавшейся на лестнице и продолженной в комнате сектора поэзии, я убедился в тонкости и неистощимости уткинского юмора, не щадящего даже его самого.

Это очень возвышало Уткина в моих глазах — ведь так иронизировать над собой может только настоящий мастер, уверенный в своих силах. Но Уткин отнюдь не занимался самобичеванием. Он издевался над той системой рапповского мышления, которая, наклеивая на писателей ярлыки, толкала их на путь облегченной «перестройки». Характерным примером и был сборник «Писатели — ударникам», который вышел в 1931 году и

действительно объявлялся образцом перестройки писателей в соответствии с требованиями «реконструктивного периода». В то время тема ударничества была весьма распространена — рапповцы ее буквально навязывали писателям, совершенно не считаясь с их творческой индивидуальностью.

По всему своему творческому складу Уткин был по-этом ярко выраженного лирического восприятия жизни, и всякого рода внешний и конъюнктурный утилитаризм диссонировал с его натурой. Он ценил те свои стихи, где жизненные явления пропущены через душевную призму, или, как он выражался, «художественно переварены». Недаром его стихотворение «Ночной ручей» заканчивалось такими строками: «Но в каком, скажите, веке был рассудочным поэт?..»

Сектор литературоведения и критики помещался на четвертом этаже, а все издательское начальство на третьем. Там же находился и сектор поэзии. Нередко, заходя к И. М. Беспалову или В. П. Кину, возглавлявшим отдел современной литературы, я встречал Уткина в коридоре или же в приемной руководства. Часто он «на ходу» просил меня «по совместительству» отрецензировать тот или иной поэтический сборник, а однажды удивил предложением:

— Идите заведовать сектором поэзии. У нас эта должность вакантная.

Уже зная Уткина как любителя подшутить, я всерьез не принял его слов. Тем более что, как мне казалось, от него «сие не зависело». Воздав должное его доверию ко мне, я спросил, почему он этого желает.

— Во-первых, не хочу, чтобы вы на наш отдел смотрели свысока,— ответил Иосиф Павлович и показал пальцем на четвертый этаж.— А во-вторых, вы на-

писали книгу о поэзии, хотя и предоктябрьской, но хронологически примыкающей к нашей.

На этом мы и расстались. Но вот несколько дней спустя меня вызвал к себе главный редактор Луппол и официально предложил должность заведующего сектором поэзии. Он сказал, что сектор должен выполнять план, а для этого нужен повседневный, оперативный контроль над редакторами и рецензентами, среди которых было много внешних. Он признался, что инициатива моего перевода в сектор поэзии принадлежит Уткину. Собственно, об этом я догадывался... Луппол очень уважал мнение столь авторитетного поэта и, конечно, без его рекомендации или согласия не захотел бы заполнять «вакансию», которая существовала уже несколько месяцев. Когда я сказал Ивану Капитоновичу, что сектором поэзии удобнее заведовать поэту, он ответил:

— Во-первых, у каждого поэта свои творческие принципы, нередко вступающие в столкновение с принципами собратьев по перу. А во-вторых, поэта часто осеняет вдохновение, и ему в это время не до таких прозаических вещей, как план. Ну, а главное — поэт у нас есть: это Уткин. К тому же он к вам хорошо относится...

Не только в секторе поэзии, но и в издательстве Уткин находился на особом положении. Среди редакторов издательства он был фигурой необычной. Знаменитый поэт, красавец, чем-то по благородству своей внешности напоминавший Блока и даже Байрона, он всегда вызывал всеобщее внимание, не говоря уже об издательских девушках, буквально обожествлявших его. Одно его появление в производственном отделе или в бухгалтерии уже открывало «зеленую улицу» коррек-

турам или счетам сектора поэзии. В этом я убедился в процессе совместной работы с Уткиным, когда стал заведующим сектором. Теперь мы беседовали не от случая к случаю, а почти ежедневно; я наблюдал его редакторскую работу, слышал его разговоры с поэтами.

Уткин не был обязан приходить в издательство каждый день — для редакторов не было помещений, и они, как правило, работали дома. Иосиф Павлович и дома много редактировал, и в издательство приходил чаще, чем это требовалось. Обычно поводом для этого были корректуры, беседы с поэтами, а главное — жесткие сроки редакционного графика.

Уткин любил встречи с поэтами, хотя условия для этого в редакции были совсем неподходящими. Издательство, помещавшееся тогда в четырехэтажном доме в Большом Черкасском переулке, буквально задыхалось от тесноты. Сектор поэзии занимал одну маленькую комнатенку, вмещавшую только два письменных стола, за которыми должны были работать четыре человека: Иосиф Уткин, Михаил Зенкевич, секретарь Ксения Михайловна Малышева и я. Нам с Уткиным принадлежал один стол, и мы, располагаясь за ним, мешали друг другу. Я был вольным и невольным слушателем многих его разговоров с поэтами. Особенно интересными были его беседы с молодыми авторами, для которых советы старшего товарища оказывались очень важными.

Эти беседы затрагивали самый широкий круг вопросов, связанных с тем, что называется «мастерством». Уткин не сводил «мастерство» к поэтической грамотности, оно для него являлось системой своеобразного поэтического видения мира, особого характера мышления и выразительности, что соответствовало его постоянно-

му требованию художественного «переваривания» жизненного материала. Оголенные публицистические строки, не пропущенные через жизненный опыт или душу поэта, он отвергал самым категорическим образом.

Конечно, не обходилось у собеседников и без столкновения точек зрения, ибо в те годы широкое хождение имела иллюстративная поэзия, поощрявшаяся критикой как свидетельство приобщения к темам социалистического строительства. Отвергая или критикуя иллюстративные стихи, Уткин шел против течения. И неудивительно, что некоторые поэты, недовольные его критикой, говорили о субъективности и предвзятости Уткина, хотя его советы и соображения исходили из искреннего желания сделать книгу стихов подлинно художественным произведением. Поэтов, с которыми Уткин имел настоящей творческий контакт, как раз привлекал этот принцип редактора.

Мне особенно запомнились его дружеские беседы с поэтом-сибиряком Михаилом Скуратовым. К стихам своего земляка Уткин был очень неравнодушен. Его, весьма впечатлительного читателя, они возвращали в собственную юность, проведенную в Иркутске, привлекали выразительным, ядреным языком, которым поэт рассказывал о мужественных людях Сибири, о суровой природе этого края, овеванного романтикой борьбы. Не меньше привлекала Уткина и скромность Скуратова, который, по его словам, «заткнет за пояс» многих известных поэтов, хотя и не стремится быть на виду.

— Я верю в талант Миши, это поэт настоящий,— говорил он.

Все, что было связано с Сибирью, приобретало для Уткина какую-то внутреннюю притягательность. И ко-

нечно, прежде всего это относилось к поэтам, талантливым пишущим о мужественном крае. Помню, с какой радостью Уткин встретил появление в нашей редакции бывшего сибиряка, ставшего ленинградцем,— Виссариона Саянова, незадолго до этого выпустившего книгу стихов «Золотая Олёкма». Они, как старые приятели, долго трясали друг другу руки, потом обнялись и расцеловались.

Приезд Саянова в Москву Уткин решил отметить домашним обедом, за которым шел разговор о ленинградских поэтах; очень тепло отзывался он о Борисе Корнилове, но особенно интересовался работой самого Саянова. Уткин хорошо знал стихи, вошедшие в книгу «Золотая Олёкма», и подробно говорил о них. Я с особым пристрастием прислушивался к разговору, так как незадолго до этого между мною и И. Оксеновым возникла печатная дискуссия о наследии акмеизма в советской поэзии. И. Оксеню истолковал «Золотую Олёкму» как доказательство плодотворности и живучести традиций акмеизма в современной поэзии. Я это отрицал, утверждая, что «предметность» акмеизма обусловлена совершенно иными, по существу эстетскими принципами этой школы. Когда мы с Саяновым вспомнили этот факт, Уткин сказал очень меткую и потому хорошо запомнившуюся фразу:

— Акмеисты холодны как мрамор, а стихи Виссариона согреты лиризмом. Не понимаю, что их объединяет?

Меня очень привлекало то, что Саянов полностью согласился с Уткиным. Этих поэтов объединяли также общие интересы, которые я бы назвал «литературно-организаторскими». Ведь Саянов в «Звезде» и в «Библиотеке поэта» делал то же самое, что Уткин в Гослит-

издате. Оба всегда были в постоянном литературном «окружении».

Уткин отдавал много внимания и сил работе с поэтами, тогда еще ходившими в молодых: К. Симоновым, М. Алигер, Е. Долматовским, Л. Ошаниным, А. Чачиковым и другими. С ними он находил общий язык, и хотя не всегда был в творческом «единстве», но уважал их поэтическую индивидуальность, видя в стихах каждого своеобразие художественных исканий.

Уткин не отказывал в помощи и совсем молодым, можно сказать, только начинающим пробовать свои силы, поэтам. К Иосифу Уткину частенько заходил сотрудник литературной консультации Анатолий Котов с подборкой наиболее удачных стихов из мощного самотека, ежедневно устремлявшегося в издательство со всех городов страны. Котов просил Уткина сказать слово мастера об этих стихах (точнее, подтвердить или отвергнуть мнение консультантов) и оценить возможности их авторов. Уткин иногда брал эти стихи с собой, а иногда, если был свободен от срочной работы, просматривал тут же. Ответы его были разные, иногда положительные, но чаще отрицательные. Помню, например, такой:

— Техникой владеет, но ошибочно смотрит на самую задачу стиха. То, что можно изложить прозой, не следует одевать в искусственную стихотворную одежду.

— Что же ему ответить? — добивался Котов.

— Это и ответьте, только помягче, чтобы не отпугнуть. Пусть пришлет стихи, желательно биографические. Тогда невольно выразит личное, неповторимое. А это-то и важно. А так, конечно, трудно судить о поэте, тем более выносить приговор.

О Котове Уткин как-то сказал:

— Душевный парень, за чужие стихи болеет, как за свои собственные.

Я часто потом вспоминал слова Уткина о «душевности» Котова — ведь он прозорливо отметил самую главную его черту, полностью проявившуюся впоследствии, когда Котов стал директором Гослитиздата.

Хотя мы сидели с Иосифом (так я стал его звать) за одним столом, но в условиях редакционной сутолоки трудно было поговорить по душам о чем-то не связанном с редакционной «текучкой».

— Нужно спокойно оглядеться вокруг себя, — сказал он однажды и пригласил меня к себе домой пообедать.

Жил он тогда на Тверском бульваре, в известном Доме Герцена — двухэтажном здании, где сейчас помещаются Высшие литературные курсы. Комната его находилась на первом этаже и производила невзрачное впечатление. Несмотря на весьма неважные жилищные условия, Уткин никогда не жаловался, но мне все же казалось, что такой крупный поэт достоин лучших условий жизни. И я не мог согласовать свой взгляд на Уткина со взглядом на его апартаменты. К тому же он как-то спокойно, без обиды и иронии сказал:

— Ночью бегают мыши.

Стараясь попасть в тон шутливой уткинской манере разговаривать, я ответил ему: «И под каждой слабенькой крышей...»

— Ах, «Мотэле», — улыбнулся Иосиф. — Эта вещь доставила мне много радости. Это память о моем детстве, о юности...

В «Повести о рыжем Мотэле» много автобиографического; вместе с поэмой «Милое детство», написанной пятью годами позже, она составляет как бы диологию, хотя в ней нет прямой биографичности, как во второй

поэме. В связи с «Милым детством» Уткин рассказывал мне об Иркутске, который очень любил и хорошо помнил. Хотя революция застала его четырнадцатилетним пареньком, он отчетливо запомнил некоторые события тех героических лет и лишь немногие из них воссоздал в поэме. Как-то Иосиф высказал сожаление, что круг явлений в поэме замкнут детскими переживаниями: это не дало ему возможности использовать факты борьбы иркутских рабочих и политических ссыльных, которых было очень много в Иркутске. Помню, как я удивился, когда узнал от Уткина о племяннике Плеханова — Бограде, занимавшем интернационалистскую позицию. Он часто выступал с лекциями, вызывавшими огромный интерес и отклик иркутян. На одной из них Уткин побывал. Это был очень яркий оратор.

— Конечно, — заключил Иосиф Павлович, — исторический материал имелся богатый, но втиснуть его в поэму, выдержанную в лирико-биографическом ключе, невозможно. Это, видимо, за пределами моего «жанра».

«Повесть о рыжем Мотэле» имела успех несравненно больший, чем «Милое детство». И сам Уткин к ней относился как-то теплее. Словно бы уносясь мыслями в эпоху революционной ломки, он сказал:

— Много было тогда героического, но много и забавного, сейчас кажущегося смешным. Думаю, что это отразилось в «Мотэле». Ведь ломались привычные формы жизни. Люди вступали в неизведанное.

В последующих беседах мы неоднократно возвращались к этой поэме — в сознании Уткина она связывалась с его литературной молодостью. Иосиф Павлович много рассказывал о выступлениях на литературных вечерах совместно с Жаровым, Светловым, Безыменским, Голлодным, вспоминая те или иные эпизоды, окрашенные

юмором или тонкой иронией. Ему были близки эти поэты общностью судеб, биографической окраской их творчества. Почти все они, как и он сам, участвовали в гражданской войне и внесли ее романтику в свои стихи. С большой симпатией Уткин относился к самому младшему из плеяды комсомольских поэтов — Джеку Алтауну. Знакомя меня с ним, он представил его:

— Безусый энтузиаст...

Летом 1936 года у Уткина была горячая пора: кроме обычных редакционных дел, ему нужно было читать сначала гранки, а затем верстку собственной книги «Избранных стихов». К тому времени он был автором ряда книг, но к этой у него было особое отношение.

— Раз «избранное», значит, все стихи должны быть хорошими. Ни одно «проходное» стихотворение сюда не должно попасть. Ведь книга-то итоговая, а это ко многому обязывает.

Иосиф Павлович неоднократно высказывал свои соображения в связи с изданием этой книги.

— Можно было бы,— говорил он,— составить книгу из давнишних стихов, проверенных временем и аплодисментами. Но мне очень хочется за счет таких шедевров побольше втиснуть стихов последних лет. Пусть это будет практическим ответом тем, кто хочет ограничить мою роль в поэзии двадцатыми годами...

Вот почему в «избранном» оказалось так много стихов последних двух лет: «Откровенность», «Разлука», «Батя», «Комсомольская песня», написанные в 1934 году, «Здравица», «Лыжни», «Сердце», «Песня о ресторане «Крит», «Типичный случай», «Сибирские песни», созданные в 1935 году, и «Азорская песня», написанная уже после сдачи книги в набор. Характерно, что в ряде новых стихов Уткин вновь возвращается к годам

гражданской войны в Сибири, много здесь автобиографического, связанного с милым сердцу поэта Иркутском, с борьбой против Колчака.

На составе «Избранных стихов» сказалась и предгрозовая атмосфера той поры. Приход фашизма к власти, события в Испании, начало психологической войны международной реакции против Советского Союза определили общий мотив советской поэзии предвоенных лет — «если завтра война». Иосиф Павлович, по-своему, по-уткински, выразил этот мотив, проведя его через свой жизненный опыт. Вот почему его стихотворения последних лет, включенные в книгу «Избранных стихов», попадали в тон ранним стихотворениям, образуя вместе с ними органическое целое. Именно целостности книги всячески добивался Уткин. Всех причастных к корректуре он неизменно спрашивал:

— Ну, что получилось — книга или сборник?

Поскольку в самом этом вопросе содержались какие-то сомнения, я всячески старался их рассеять. По должности мне надо было читать корректуры дважды: подписывая «к верстке» и «к печати». В других случаях я ограничивался однократным чтением, но поскольку шла книга Уткина, которой автор придавал очень большое значение, экономить на времени не приходилось. Впрочем, сам поэт всегда шел мне на помощь, читая некоторые стихи, особенно последние, вслух, мотивируя это необходимостью «обкатать» стихи на аудитории.

— Какая же я аудитория?

— Очень важная, хотя и необыкновенная. Обыкновенная аудитория не поплодевает, ну и что же, не опасно. А если ты не подпишешь — опасно.

Конечно, это замечание было типично уткинской,

шутливой гиперболой: при чтении поэтом своих стихов я подвергался другой опасности — Уткин настолько хорошо и прочувствованно читал свои стихи, что при этом исчезали всякие недостатки, и они звучали как целостная музыкальная мелодия, которую кощунственно править. Вообще же после столь квалифицированного редактора, каким был Михаил Зенкевич, мои замечания были очень редки и касались «мелочей». Уткин, случалось, соглашался, но когда я обратил его внимание на концовку стихотворения «Мы с тобой», произошел такой разговор:

— Ты пишешь «обнимем знакомых девчат», — сказал я. — И так ясно, что «знакомых», раз «обнимем».

— Оставим так, — ответил Уткин. — Бывает, что обнимают незнакомых... — И, немного подумав, добавил шутя: — Правда, тогда правильнее было бы написать «облапим». А раз я так не написал, значит, смысл хороший.

Перед таким неожиданным оборотом я оказался безоружным. Слушая в чтении Уткина совсем недавно написанную «Азорскую песню», я сказал, что по своему мотиву она мне напоминает светловскую «Гренаду». Иосиф Павлович ответил:

— Вот и хорошо. Этот интернациональный мотив, так удачно выраженный Светловым, совершенно естествен в нашей поэзии. Он должен быть ведущим. В стихотворении «Гавайская гитара» я тоже отдал ему дань.

Включая в «избранное» стихотворение 1925 года «Канцеляристка», Уткин сделал такой комментарий:

— Когда оно было опубликовано, в среде рабочей молодежи часто проявлялись настроения, враждебные к интеллигенции, к молодым служащим. Это было нечто вроде классового аристократизма. Вот эти «аристо-

краты» не могли мне простить, что я воспел девушку-канцеляристку. Возможно, именно отсюда идут еще истоки нелепых обвинений в мелко-мелкобуржуазности.

Он так и сказал «мелко-мелкобуржуазности», словно бы превращая горькую обиду в кислую иронию, как говорится, «за давностью лет». Уткин обладал удивительной способностью прятать глубоко личные, подчас тяжелые чувства и переживания в шутиливой иронии, в юмористической интонации. Он мне признался, что долго колебался — включить ли в книгу «Избранных стихов» очень на шумевшее стихотворение о Сергее Есенине, написанное в годовщину смерти поэта. Доводом «за» служило желание взять реванш перед вульгаризаторской критикой, от которой Уткина защитил Горький. Но в конце концов Иосиф Павлович решил это стихотворение не включать.

— Оно очень уж привязано к тому времени, когда кипели страсти вокруг Есенина и особенно «есенинщины». На расстоянии фигура Есенина все увеличивается, и сейчас можно бросить новый, итоговый взгляд на наследие этого прекрасного поэта. Разве сейчас мог бы я написать:

Кипит, цветет отчизна,
Но ты не можешь петь!
А кроме права жизни,
Есть право умереть.

Не мог, конечно.

Горьковский очерк о Есенине Уткин считал наиболее удачной, прозорливой оценкой внутренних противоречий, присущих Есенину.

— Эти противоречия, безусловно, были, и их надо обстоятельно объяснить. Именно это сделал Алексей Максимович.

Из стихотворений, посвященных Есенину, Уткин считал самым ценным стихотворение Маяковского. Вообще он с большим пиететом отзывался о Маяковском. Тогда в Гослитиздате завершалось Собрание сочинений поэта в двенадцати томах, и Уткин очень интересовался составом томов, комментированием их и т. д. Он проявлял интерес и к сборнику Маяковского «Стихи о комсомоле», к которому я написал предисловие и показал ему в верстке.

— Я боюсь,— сказал он,— что теперь критики превратят все творчество поэта в лавровый венок. А это противоречит самой сущности поэзии.

Так, в чередовании живых бесед и официальных «виз», проходила работа над книгой «Избранные стихи». Работать с Уткиным было весело. Иногда он с очень серьезным видом «разыгрывал» меня. Запомнился такой случай. Придя в редакцию, он прямо с порога сообщил мне:

— Мы с Зенкевичем решили включить в «Избранные стихи» мое в общем неплохое стихотворение «О московских рудокопах, каширских рабочих и социализме».

— Неужели? — удивленно спросил я.— Ведь ты же согласился с моей критикой.

— В общем, да, но там дана тема ударничества, а она в книге не представлена.

Я был буквально ошарашен такой «неуткинской» аргументацией и не знал, что сказать. Иосиф Павлович пришел мне на помощь.

— Но тебе, как заву, я предоставляю право резать это стихотворение. Бери ответственность на себя. А я буду вину валить на тебя.

Тут-то выяснилось, что все это чистейшая мистификация.

Подчас шутливая ирония Уткина придавала ошибкам обыденный характер. Вспоминаю нашу беседу по поводу нескольких стихотворений, отдельные строчки которых вызывали кое у кого возражения. С некоторыми замечаниями он согласился, с другими — нет. Так, например, он не захотел «облагораживать» строки из «Милого детства»:

Дом трехэтажный
(Кроме коня,
Кроме пролетки на толстых шинах!)...
Что трехэтажного
У меня,
Кроме матерщины?

Уткин правильно заметил, что на этой «трехэтажности» построен каламбур совсем в духе всего иронического настроения поэмы. Предложение удалить из стихотворения «Разлука» эпиграф — строку Кукольника — Уткин также не принял.

— Положим, Кукольник! Ну и что? Строка «Разлука уносит любовь» нейтральна к его литературной физиономии. А кроме того, здесь дело тонкое — я где-то с ним полемизирую, где-то соглашаюсь. Одним словом, чувства при разлуке самые смутные...

В беседах с Уткиным мы касались творчества многих поэтов. Его мнения, естественно, вызывали большой интерес, потому что Уткин принадлежал к числу одножанровых писателей и ничего, кроме стихов, старался не писать (хотя несколько статей и очерков все же написал). Его литературные симпатии и антипатии выражались главным образом в устных оценках произведений товарищей по перу, которые он давал «по ходу действия». Помню, например, с каким сарказмом

он много раз говорил о модной тогда песенке, лирический герой которой недоуменно вопрошал: «Почему? Растолкуйте вы мне». И тут же получал исчерпывающий ответ:

Потому что у нас
Каждый молод сейчас
В нашей юной
Прекрасной стране.

Уткин часто «обыгрывал» слова этой песни по самым различным поводам — особенно риторический вопрос и «бодряческий» ответ. Однажды мы совещались по поводу невыполнения месячного «графика» из-за какого-то сборника молодого поэта. С серьезным видом Уткин спросил:

— Почему? Растолкуйте вы мне.

Когда он узнал, что у молодого поэта был молодой редактор, то сам себе ответил:

— Понимаю. Потому что у нас каждый молод сейчас...

Со словами: «Почему, растолкуйте вы мне» — он часто обращался вместо того, чтобы просто спросить: «Почему?»

Уткин высоко ценил самую плодотворную форму общения с читателем — литературные вечера.

— Поэтам необходимо чаще выступать, — говорил он. — Глядя в глаза людям, невозможно лицемерить, фальшивить и пустозвонить.

Он охотно выступал в аудиториях, особенно молодежных. Невольно я стал инициатором одного его выступления, и вот каким образом. Я жил тогда в доме Первой ситценабивной фабрики, на которой работал до поступления в МГУ. Однажды я встретил своего дав-

нишнего знакомого, члена фабкома. Узнав, что я работаю в издательстве вместе с Иосифом Уткиным, он буквально взмолился:

— Пригласи его к нам на фабрику. Устроим ему хорошую встречу. Молодежь его очень любит.

Я сказал об этом Уткину. Зная его занятость, я не очень рассчитывал на согласие. Но, к моему удивлению, он сразу же согласился.

— Ты скажешь вступительное слово, а я читаю стихи. Как раз мне нужно кое-что «обкатать».

Зал в клубе был заполнен до отказа. Преобладала молодежь, но было много взрослых. Может быть, они лучше молодых знали Уткина — ведь его поэзия сопутствовала их молодости в двадцатые годы. По просьбе Уткина я во вступительном слове сделал акцент на его гражданской поэзии. Возможно, я перегнул палку: из зала посыпались записки, адресованные Уткину, с просьбой почитать лирику. В некоторых записках назывались широко известные стихи, называлась и поэма «Мотэле». Но поэму Уткин читать не стал, а «заказанные» стихи читал охотно. Читал и совсем новые стихи, поглядывая на листки бумаги. Уже утомленный, он огласил две записки. В одной была просьба почитать стихи про любовь, в другой — про войну. Обращаясь к слушателям очень непринужденно, он, улыбаясь, сказал:

— Война и любовь — понятия несовместимые. Но я попытаюсь их совместить. Прочту стихотворение о влюбленном паренке, ушедшем на войну. — И он прочитал «Песню об убитом комиссаре», вызвавшую горячее одобрение зала. Его много раз вызывали, он давал слово больше не читать и все же снова читал. Не обошлось и без курьеза. Один шустрый паренек из первого ряда,

до этого добросовестно передававший записки в президиум, неожиданно громко крикнул:

— «Гармонь»!

Уткин вполне серьезно ответил:

— Сыграть на гармонии я еще кое-как смог бы, но прочесть поэму Жарова, которого я очень уважаю, а его поэму, посвященную мне, люблю, сейчас не могу. Приведу из нее только две строчки: «Не гармошка, а ты, Тимошка, виноват».

При этом Уткин укоризненно посмотрел на шустрого паренька. Тогда обиженный паренек встал и очень громко сказал:

— Я ошибся. Хотел сказать «Гитару», а почему-то назвал «Гармонь».

Под смех зала Уткин подвел итоги:

— Тогда Тимошка ни в чем не виноват. Передам это моему хорошему другу Жарову.

Когда мы вышли на улицу, он сказал:

— Одному выступать трудно. Обязательно надо бригадой. Это дает хорошую конкуренцию. А монополия порождает самодовольство! Только Демьян Бедный достоин индивидуального творческого вечера. С ним неудобно никого выпускать...

В Демьяне Бедном Уткин прежде всего видел поэта-революционера, соратника Ленина, и относился к нему как к высокому авторитету в поэзии. Когда в нашем редакционном графике появилась рубрика «Демьян Бедный. Однотомник» и я предложил Уткину его редактировать, он деликатно отказался:

— Мне очень трудно быть редактором этой книги. Вряд ли я смогу подсказать автору что-нибудь ценное. Ведь поэт, редактирующий другого поэта, как бы переплощается в его образ и смотрит на изображаемую

действительность его глазами. А я этого в данном случае не смогу сделать. У нас очень разные жизненные пути и манеры. Я никак не могу отрешиться от лирического «я», а Ефим Алексеевич без него прекрасно обходится.

Вопрос о редакторе однотомника оставался открытым. Но когда меня вызвал И. К. Луппол и, сообщив, что Демьян Бедный на днях дает расклейку однотомника, предложил мне лично его редактировать, я понял, что здесь не обошлось без подсказки Уткина. Субъективные вкусы Уткина не мешали ему быть объективным в отношении самых различных поэтов. Я не помню ни одного конфликта между Уткиным и автором редактируемой им книги. Это не значит, что все шло гладко, без споров. Поскольку мы сидели за одним столом, споры были «на виду». Однажды один молодой автор сильно упирался, и Иосиф Павлович «уступил» ему очень оригинально:

— Ну что ж, моя фамилия будет напечатана мелким шрифтом в конце книги, а ваша в начале книги и крупным шрифтом.

Я был свидетелем, как эта фраза произвела ошеломляющее впечатление на молодого поэта. Он, забыв все свои доводы, немедленно согласился с редактором.

Когда в пределах сектора нам не удавалось разрешить то или иное разногласие, обращались к нашему непосредственному начальству — к Виктору Павловичу Кину. Его мнение все мы очень уважали. А Уткина с Кином связывали какие-то особые дружеские чувства. Возможно, что их источником была общность биографий: ровесники, они с юных лет участвовали в гражданской войне — один в Сибири, другой на поль-

ском фронте. А герои их произведений — «соседи»: одни воевали в Сибири, другие — на Дальнем Востоке. Они очень близки по возрасту, взглядам и жизненной практике. Уткин высоко ценил роман Виктора Кина «По ту сторону» и считал автора очень талантливым писателем. Он часто заходил к Кину, и мы знали, где его следует искать, когда он был очень нужен.

Однажды я был свидетелем их беседы, обильно насыщенной юмором. Эта беседа велась за обедом, которым Уткин «отмечал» выход «Избранных стихов». Чувство юмора было очень развито у него: он любил каламбуры, обыгрывая слово, тонко чувствуя все его оттенки. Из его шуток в тот вечер очень запомнилась одна, сказанная Кину:

— Ведь мы с тобой, собственно, однофамильцы. Ты сократил свою фамилию Сурувикин. Ведь то же самое мог бы сделать и я...

Невинная шутка сменялась иронией и даже сарказмом, когда речь заходила об обывательских и мещанских настроениях в литературной среде, о догматиках и приспособленцах. Главной, постоянной мишенью уткинского сарказма был догматизм в самых различных формах и видах, будь то в поэзии или в критике. Это и понятно, ибо он сам бывал жертвой догматической, предвзятой критики, ложно истолковавшей его гуманизм как отступление от пролетарской позиции. С чувством глубокой признательности Уткин говорил о Луначарском и Горьком, защищавших его от наскоков критики.

— Если бы не они, худо бы мне было, — однажды сказал он меланхолично, но, подумав, добавил: — Конечно, если бы я смалодушничал и опустил руки. Но я тогда был молод, энергичен и боролся как мог.

Известно, что Анатолий Васильевич Луначарский дал отпор безответственным нападкам лефовцев «на такого даровитого, многострунного и поистине изящного поэта, как Уткин», утверждая, что поэзия Уткина в «целом революционна». Как-то Уткин сказал:

— В полемике о моих стихах Луначарский отстаивал принципиальную позицию, и мне было очень приятно, что именно мои стихи соответствовали его принципам. Я горжусь тем, что Луначарский посвятил моей поэзии три статьи.

А поводом для наших разговоров о Луначарском послужило то обстоятельство, что Иосиф Павлович откуда-то узнал, что до Гослитиздата я был аспирантом Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде, где одно время директором был Анатолий Васильевич. Уткин подробно расспрашивал о Луначарском. Его интересовало все — как он выглядит, как он руководит институтом, как к нему относятся научные сотрудники.

— Ведь он привык к кипучей деятельности в большом масштабе, в окружении огромного количества людей. А как он чувствует себя в тихой заводи?

Я сообщил Иосифу о своей единственной короткой беседе с Луначарским в институте. Рассказал и такой эпизод, относящийся к 1930—1931 годам, когда был заместителем редактора комсомольского журнала «За теоретическую учебу». В редакции возникла идея обратиться к Луначарскому с просьбой дать статью. В успех мы не особенно верили, учитывая огромную занятость «потенциального» автора. Каково же было наше удивление, когда статья о литературе как орудии воспитания была получена.

— В этом факте — самое характерное для Луначар-

ского,— сказал Уткин,— человеческая отзывчивость и демократизм — самое главное в его облике. Это я испытал на себе...

И он рассказал мне о своих встречах с Луначарским, о той поддержке, которую ему оказал Анатолий Васильевич...

Летом 1936 года — в разгар нашей совместной работы — произошло событие, которое потрясло все прогрессивное человечество: умер Горький. Уткин с душевной болью воспринял весть о кончине великого писателя, сыгравшего большую роль в его личной судьбе. Именно Горький высоко оценил подлинный смысл революционного гуманизма Уткина, защитил его от грубых обвинений рапповского журнала «На литературном посту» в «мелкобуржуазном уклоне». Вообще, все, что писал Горький, было очень созвучно Уткину. Любимого писателя, воспевшего «маленького великого человека», Уткин воспринимал как-то на свой особый, душевный лад. Ведь по существу вся поэзия Уткина — это раскрытие судьбы маленького человека, которого революция приобщила к великому делу борьбы за свое подлинное счастье. Думается, что и сама защита Горьким Уткина в этом плане весьма знаменательна.

Свой взгляд на Горького Уткин мне подробно высказал, когда я поделился с ним темой своей будущей докторской диссертации о Горьком (я тогда готовился к поступлению в докторантуру Института русской литературы Академии наук).

— Правильно выбрал тему,— сказал он, узнав от меня, что о Горьком тогда не было ни одной докторской работы.— Именно о нем и надо писать. Вся его деятельность — пример для наших писателей.

И он рассказал мне о своих встречах с Алексеем Максимовичем, которые его заставили, как он выразился, «повзрослеть». Рассказал и я Уткину о беседе с Горьким, в которой участвовал в 1931 году. Уткин расспрашивал меня о деталях этого разговора между Горьким и сотрудниками журнала «Смена». Ему была особенно близка молодежная тема в литературе, которая обсуждалась во время нашей беседы.

В 1938 году я поступил в докторантуру и вновь переехал в Ленинград. Как-то, будучи в Москве, я позвонил Уткину, и мы назначили свидание в Доме писателя (так тогда назывался Центральный Дом литераторов), чтобы вместе пообедать. Когда мы встретились, он своим вопросом вернул меня к нашему прошлому:

— Почему ты в Москве? Растолкуй-ка ты мне.

Мне показалось, что Уткин в этот день был менее оптимистичен, чем раньше. В разговоре проскальзывали мрачные ноты. Очень запомнились слова Уткина, чем-то напоминающие его каламбуры:

— Я начал свой поэтический путь переходом от бури к затишью, теперь придется совершать обратный путь от затишья к буре...

В военную бурю оборвалась жизнь замечательного мастера поэтического слова. Поэзия Уткина с честью выдержала испытание временем. Сейчас мы особенно отчетливо видим, какой это был большой поэт, очень оригинальный и самобытный, который по-своему, «по-уткински» воспевал великую революцию, отдав ей все силы своего ума и сердца.



Нежность и мужество живут рядом

Из юношеского самолюбия, из той самой скромности, о которой говорят, что она паче гордости, я в начале своего пути не искал знакомств с известными писателями. Мне всегда претило снисходительно-покровительственное отношение некоторых столичных литераторов к своим молодым провинциальным собратьям. Пользоваться покровительством таких метров, не упускавших случая покрасоваться перед наивными, с их точки зрения, провинциалами, я считал для себя зазорным и даже унижительным. Дело иногда доходило до болезненной, очень мешавшей мне и в самом деле попахивавшей провинциализмом мнительности. Но так или иначе, а знакомился я только с теми из них, с кем сталкивала меня сама жизнь.

Иосиф Уткин вошел в мою литературную судьбу еще в те дни, когда я только начинал печататься. Его «Первая книга стихов» оказалась в числе премиальных книг, полученных мной в 1927 году от редакции смоленской газеты «Юный товарищ» за поэму «Ржаная кровь».

В деревню, где я жил тогда, стихи Уткина доходили

редко. Гораздо чаще попадались мне на глаза ругательные рецензии. Вполне понятно, что я, по свойственному юности стремлению во всем разобраться без посторонних подсказок, прежде всего взялся за книгу Уткина. Нападки критики показались мне во многом несправедливыми. Я читал и перечитывал поллюбившиеся мне стихи, а через несколько дней знал их наизусть. Меня пленяла в них, как я сказал бы теперь, та музыка человечности, та жажда красоты и чистоты, которая рождалась в суровых испытаниях времени.

В пору тревожных юношеских раздумий, связанных с напряженными поисками своего пути в поэзии, мне, как вешки, поставленные идущим впереди другом, были дороги многие его строчки, кажущиеся теперь наивными:

Нам,
Прошедшим зной и снежность,
Нам,
Вдыхавшим пыль и дым,
Нам нужны
Друзья и нежность
Много больше,
Чем другим.

Конечно, я скорее ощущал, чем понимал, что в своих лучших стихах Уткин утверждал право человека на всю полноту счастья как право гражданское. Но именно это казалось мне главным в его поэзии, чего не могли заслонить досадные описки. Я и потом никак не мог понять, почему так беспощадна была к Уткину критика, особенно в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Она судила автора «Повести о рыжем Мотэле» не по лучшим его вещам и уже по одно-

му этому не могла быть справедливой. А юность никогда не мирится с несправедливостью. Может быть, из чувства протеста против такой несправедливости я и прощал Уткину его слабые стихи и яростно защищал перед друзьями-студентами мужественно державшегося под непрерывным обстрелом критики поэта.

В то время я уже иногда печатался в толстых столичных журналах, но сам в Москве бывал редко. От своих московских друзей я слышал об Уткине разное. Одни говорили, что это самовлюбленный актер, играющий на публику и не замечающий никого вокруг себя. Другие же, наоборот, рассказывали много хорошего о его внимательном отношении к поэтической молодежи. Самому мне с ним сталкиваться не приходилось, хотя понаслышке я знал, что он интересуется моими стихами. В издательстве «Художественная литература», где Уткин работал редактором, лежала рукопись моего сборника «Дыхание». Лежала без ответа, наверное, года два, но зайти туда, справиться о ее судьбе у меня не хватало духу. Мои более опытные смоленские приятели убеждали меня, что обращаться в такое солидное издательство молодому поэту дело совершенно безнадежное, и я уже заранее примирился с отказом.

Поздней весной 1937 года Союз писателей пригласил меня в Москву на обсуждение новой книги Александра Прокофьева «Прямые стихи». В перерыве между двумя заседаниями ко мне подошел Джек Алтаузен и сказал, что его попросил разыскать меня Иосиф Павлович Уткин. После каких-то обязательных при первом знакомстве слов Иосиф Павлович предупредил:

— В следующем перерыве никуда не исчезайте.

Я повезу вас в издательство. Вашу рукопись передали мне, я прочитал ее, и нам нужно поговорить.

И вот мы сидим в его маленьком редакторском кабинете на Никольской, где тогда размещалась издательская твердыня, которая среди молодых писателей считалась «Гихлым местом». Иосиф Павлович, чуть откинувшись на стуле, листает мою рукопись, а я, положив перед собой коробку «Казбека», курю от волнения папиросу за папиросой.

Замечаний у него не так уж много, и я почти со всеми из них соглашаюсь. Не могу согласиться только с его оценкой стихотворения «Опять роняют пух тяжелые гусыни», которое он находит неорганичным для меня, мне оно очень дорого: я старался перекинуть мостик от деревенской темы к городской, и мне казалось, что сделал это удачно.

— Ну, послушайте же, послушайте,— убеждает меня Иосиф Павлович, держа перед собой листок.— Разве это ваши строки:

А ты следишь в цеху за плавкою металла,
Вокруг тебя всю ночь снуют формовщики...

Конечно, за такие стихи критика может и похвалить, но разве мы пишем ради похвал?

Правоту Уткина я понял только потом. Много лет спустя я переделал это стихотворение, выбросил все не нравившиеся ему строки. А тогда упорно не соглашался с ним.

— Как хотите,— вздохнул Уткин,— но я бы не оставил его рядом с таким стихотворением, как «Март»:

Весны предчувствие росло,
Шумело первыми грачами,

Спать не давало мне ночами
И уводило за село —
Бродить, пока не рассвело,
С одной двустволкой за плечами.

Иосиф Павлович вышел из-за стола, распахнул окно и прошелся по комнате. Вернувшись на свое место, сказал:

— В ваших стихах мне многое дорого. Нам нужно держаться поближе друг к другу. Как сказано, «издревле сладостный союз поэтов меж собой связует». Мне было бы приятно стать вашим первым московским редактором, но, к сожалению, я уйду из издательства. Чтобы не случилось чего-нибудь непредвиденного, я вас передам с рук на руки Васе Казину. Сейчас я ему позвоню.

Иосиф Павлович поднял уже телефонную трубку, но в комнату вошел высокий длинноволосый мужчина с ястребиным носом на смуглом лице, одетый в белую полотняную толстовку. Мне почему-то вспомнились стихи: «Ты по паспорту крестьянин, а душой цыган». Уткин положил трубку. Вошедший поздоровался с ним и, мельком взглянув на меня, молча взял папироску из лежавшей на столе коробки.

— Папиросы не мои, а моего молодого друга,— улыбнулся Иосиф Павлович.

Незнакомец насупился, положил папиросу обратно и, скрестив на груди руки, отступил к двери.

— Простите. Никогда и ничего до сих пор я у незнакомых мне людей не брал..

— Так вот я вас сейчас и познакомлю,— сделал широкий, объединяющий жест, произнес Уткин.— Все, кто встречается у меня, становятся друзьями. Это,— кивнул он в мою сторону,— молодой смоленский поэт

Николай Рыленков. А это...— Иосиф Павлович немножко помедлил для торжественности,— это Сергей Антонович Клычков.

Я встал и смущенно поклонился. Мне никогда не приходилось его видеть, но тут я как-то сразу же догадался, что это именно он. И стихи, которые мне вспомнились, были посвящены ему. Клычков, встряхнув уже начинающей сесть гривой, гордо вскинул голову и протянул мне руку:

— Стихи мои читали?

— Не только читал, но и помню наизусть,— ответил я.

— И что же вы помните?

— Весь сборник ваших избранных стихотворений «Гость чудесный».

— А ну, прочтите последнее в этом сборнике стихотворение.

Я на мгновение закрыл глаза и тут же вспомнил, что сборник назван именно по последнему стихотворению.

Свет вечерний мерцает вдоль улиц,
Словно призрак, в тумане плетень.
Над дорогою ивы согнулись,
И крадется от облака тень.

— Правильно,— просветлел Клычков и взял из коробки папиросу.

— Вот видите, Сергей Антонович, настоящие стихи живут назло критике,— заметил Уткин, явно довольный, что я не опозорился перед старым поэтом.

— И будут жить,— путив клуб дыма, ответил Клычков.

Извинившись за неурочное вторжение, он попро-

щался и ушел. Когда в коридоре затихли его неторопливо удаляющиеся шаги, Уткин произнес:

— Можете поздравить себя, Коля. Вы познакомились с тончайшим лириком наших дней.

— Для меня было приятной неожиданностью, что это произошло у вас,— откровенно сознался я.— Почему я люблю стихи Клычкова — понять легко. Во мне живет мужик. А вот вы... Вы же коренной горожанин.

— Я делю поэтов, как вы могли убедиться, не на городских и деревенских, а на плохих и хороших,— заметил Уткин и повел меня к Казину.

Познакомив нас, он без всяких обиняков предупредил его:

— Книжку придется редактировать тебе. Так вот, смотри, Вася... не будь лукавым царедворцем Шуйским. Иначе дело будешь иметь со мной. Я не позволю обижать Николая.

— А с чего ты взял, что я собираюсь обижать? — хриповато засмеялся Казин.— Его стихи в журналах я, может, раньше тебя заметил. Но в плане-то книжки нет. Найти для нее дырку может только главный.

Главным редактором в ГИХЛе работал тогда Марк Серебрянский. Я был с ним немного знаком: он не раз приезжал в Смоленск по делам Союза писателей.

Чтобы не откладывать решающего разговора, Иосиф Павлович предложил пойти к главному сейчас же, и мы отправились уже втроем. Выслушав Уткина, которому все время поддакивал Казин, Серебрянский устал вздохнул и развел руками:

— Все так, но кого-то надо выбрасывать из плана. А кого?

Иосиф Павлович назвал имя одного своего старого приятеля:

— Он у нас издается часто. Может годик и подождать.

— Хорошо,— лукаво прищурился Серебрянский.— Так и запишем. Но только, когда он придет ко мне объясняться, я пошлю его к тебе. Договорились?

— Договорились,— не сморгнув, согласился Иосиф Павлович.

Из Москвы я уехал окончательно покоренный Уткиным. Его забота о судьбе моей книжки не могла не тронуть меня. «А еще говорят, что это позер, избалованный успехом у мещанской публики. Какая чепуха,— думал я, вспоминая каждое сказанное им слово.— Нет, никакого позерства я у него не заметил. А что он не скрывает своих обид на критику, так тут ничего удивительного нет. Она придирается к нему по каждому пустяку, словно он раздражает ее даже тем, что красив, как молодой бог, и всегда высоко держит голову».

Марк Серебрянский сдержал свое слово, и книжка моя была включена в план. Уткину не пришлось объясняться со своим старым приятелем. Его книжка появилась на прилавках гораздо раньше моей. Моя вышла в самом конце 1938 года. Любовно оформленная художником Рифтиным, сделавшим чудесные заставки, эта книжка в изящном ледериновом переплете до сих пор кажется мне самой нарядной из всех моих изданий. Выход ее был для меня больше чем годовым праздником. И я хорошо понимал, что праздником этим в значительной мере обязан Уткину. Без него рукопись моя долго еще лежала бы в издательстве, но если бы даже книжка и не вышла, что легко могло случиться в то нервное время, я все равно на всю жизнь сохранил бы благодарную память об оказанной мне Иоси-

фом Павловичем поддержке. Потом я узнал, что такую поддержку он оказывал многим молодым поэтам.

В последние предвоенные годы мы довольно часто встречались и в Москве, и в коктейбельском Доме творчества писателей. Чувствуя искренний интерес Уткина к моей работе, я охотно читал ему свои новые стихи. Меня все больше привлекало к нему благородство его понятий о литературе, и прежде всего, конечно, о поэзии. Мне была близка его неколебимая вера в очистительную силу лирики, его убежденность в том, что утилитаризм противопоказан ей, чужд духовным запросам наших современников.

И если в собственных стихах он не всегда поднимался на высоту своих требований, то в этом я видел скорее его беду, чем вину. Понимал он гораздо больше, чем сумел сделать. И, видимо отдавая себе отчет в этом, не торопился печататься. Так, по крайней мере, было в годы моего знакомства с ним. Преодолевая в себе инерцию литературщины, дешевой красоты, Уткин упорно шел ко все более углубленному раскрытию внутреннего мира своего лирического героя. В поисках высокой и ясной простоты он все чаще и все успешнее обращался к традициям русской классики, к мастерам пушкинской школы. Мне очень нравилось его стихотворение «Тройка», особенно его заключительные строки:

А она летит, лихая,
В белоснежные края,
Замирая, затихая,
Будто молодость моя.

По душе мне пришлись и фольклорные стихи Уткина, такие, как «Народная песня» («Ну-ка, двери отвори...»).

Я не раз слышал от Иосифа Павловича золотые слова, что настоящие вещи не могут устареть, а те, что устаревают, не стоит жалеть. Значит, они не настоящие. Теперь все это кажется само собой разумеющимся, но не надо забывать, что говорилось это в то время, когда выше всего ценилась способность поэта немедленно откликаться на текущие события. В известных литературных кругах забота художника о долговечности создаваемых им произведений почиталась проявлением барского высокомерия.

Мы много говорили о гражданственности лирики. Чем суровее время, утверждал Уткин, тем больше человек нуждается в лирике. Черствый человек не может быть хорошим гражданином в любом обществе, а в нашем — тем более, любил повторять Иосиф Павлович: «Нежность и мужество живут рядом!»

Не знаю, как с кем, а в отношениях со мной Уткин никогда не претендовал на роль наставника. Он держался просто, как старший товарищ, всегда готовый поделиться своим опытом. Стихотворному мастерству я учился у других поэтов, а в разговорах с ним искал подтверждения своим раздумьям, проверял себя.

Особенно памятны мне наши коктебельские встречи в дни позднего лета и ранней осени 1939 года. Я тогда только начинал осваивать эту чудесную долину голубых скал и готов был без конца лазать по каменистым кручам Карадага. Уткин чувствовал себя не совсем здоровым, и я не раз отменял свои походы в горы, чтобы посидеть с ним на берегу залива, вслушиваясь в античные гексаметры волн.

Я собирался продолжать работу над поэмой «Большая дорога», героем которой был молодой Горький, и Уткин с удовольствием рассказывал мне, как он вместе

с Жаровым и Безыменским гостил у великого писателя в Сорренто.

В знойной, пропахшей степной полынью и йодом морских водорослей тишине мы слышали первые раскаты приближающейся к нашим границам военной грозы. Германия напала на Польшу, и наши войска начали освободительный поход в Западную Белоруссию.

В писательском Доме творчества, дабы не нарушать благословенной тишины, никаких радиоточек не полагалось, а газеты приходили с большим опозданием. Слушать последние известия мы с Иосифом Павловичем ходили в соседние дома отдыха. Ходили по нескольку раз в день, боясь пропустить хоть что-нибудь.

— Запомните, Коля, что это не эпизод, а начало большой и трудной войны,— говорил Уткин.— И еще запомните, что на войне лирика будет даже нужнее, чем теперь.

Вскоре я получил повестку из своего военкомата и должен был срочно возвращаться в Смоленск— в редакцию окружной газеты «Боевая подготовка», куда меня назначили начальником отдела культуры и быта. Прощаясь со мной, Иосиф Павлович сказал, что не сегодня, так завтра, но нам всем придется надеть шинели и показать, на что способны поэты, выполняя свой гражданский долг...

— Я уверен, что лирика не окажется в обозе.

Военные действия в Польше быстро шли к концу, но ощущения скорого возврата к мирной жизни не было. Мне все время вспоминались слова Уткина, что это не эпизод, а начало большой войны. Я писал и печатал в газете исторические баллады о патриотических подвигах простых русских людей. Продиктованы они

были стремлением осмыслить надвигающиеся события, подготовиться к грядущим испытаниям.

К концу года меня демобилизовали, и я взялся за поэму о героическом прошлом моего города, не раз встречавшего у своих стен иноземных завоевателей. Так сложился в моей последней предвоенной книжке «Березовый перелесок» большой раздел «Земля отцов». Книжку в Смоленске жестоко разругали за созерцательность и уход от современности. Разносная рецензия на нее появилась и в московском журнале «Литературное обозрение». Тогда Союз писателей, не знаю уж по чьей инициативе, предложил устроить обсуждение моих стихов у московских поэтов.

Я теперь не помню всех, кто выступал на этом обсуждении, но хорошо помню, что разговор шел по самому высокому счету, без придинок по пустякам и без скидок на периферийность. И дружеская критика Иосифа Павловича была, пожалуй, самой взыскательной. Чтобы обрадовать меня, он по секрету сообщил, что «Литературная газета» собирается дать пространственный отчет о моем «бенефисе». И отчет действительно появился, чуть ли не на подвал. Это было весной 1941 года.

В следующий раз я попал в Москву уже после разгрома рвавшихся к ней фашистских дивизий. Приехал с обмороженным лицом, в прожженном у солдатских костров бушлате из самого пекла войны, где командовал саперным взводом. Меня прикомандировали к редакции выходившего тогда в Москве журнальчика «Фронтowej юмор». Юморист я был, конечно, липовый, но и на фронте тоже не собирались шутить с немцами. А свинцовой злости для подписей под сатирическими рисунками у меня накопилось достаточно. К тому же

редактор оказался человеком широких вкусов и рядом с сатирическими стихами охотно печатал мою фронттовую лирику.

Редакция наша размещалась вместе с «Красноармейской правдой» в здании «Гудка». Первым, кого я встретил там из московских друзей, был Алексей Сурков. Мы по-солдатски обнялись. Я стал спрашивать его о наших общих знакомых, и он сразу заговорил об Уткине. Заговорил взволнованно, горячо. Я хорошо знал, что поклонником поэзии Уткина Сурков не был никогда, тем приятнее мне было услышать именно от него о солдатском мужестве Иосифа Павловича. Рассказав, как Уткин был ранен в бою, Сурков, не скрывая восхищенного удивления, заключил:

— Ну, кто бы вчера мог подумать, что он способен на такой поступок? Те, кто скрипели ремнями на маневрах и по каждому поводу клялись своим мужеством, оказались за тридевять земель от фронта, а он полез в самую бучу.

— А ты не думаешь, что тут есть некая закономерность? — спросил я.

— Закономерность тут одна, — ответил Сурков. — Под огнем любоваться собой нельзя. Там сразу открывается, кто чего стоит. Вся шелуха сгорает, вся позолота тоже. Остается только то, что огнеупорно. Может быть, это и есть подлинная гражданственность.

Мне очень хотелось поскорее увидеться с Уткиным, но Сурков сказал, что он находится на излечении в Ташкенте. В тылу Уткин долго усидеть не мог, и летом я уже бродил с ним по московским улицам. Иногда мы встречались почти ежедневно, иногда он исчезал на целые недели. Потом я узнавал, что он ездил на фронт. Ему снова удалось устроиться военным корреспондентом.

том. Загорелый, похудевший, он выглядел моложе, чем до войны. Офицерская форма сидела на нем так ловко, что он казался рожденным для нее. Подвязанная рука придавала ему романтический вид, и молодые солдаты с видимым удовольствием подтягивались перед ним для приветствия.

В то лето мне писалось, как никогда, легко. Меня захлестывали поднимавшиеся со дна души стихи о России. Мне хотелось выговориться перед нею до конца, исповедаться во всех своих чувствах. Я много печатался в центральных газетах и журналах. Постепенно складывалась еще одна книжка военной лирики «Прощанье с юностью», которую я отдал в «Советский писатель». Она была принята хорошо, только один из рецензентов заметил, что у меня многовато очень личных, почти альбомных стихов. Когда я рассказал об этом Уткину, он посоветовал:

— А вы ответьте вашему рецензенту, что в альбом попасть труднее, чем в любой журнал.

Сам Уткин работал в то время над какой-то большой прозаической вещью, в которой собирался показать всю суровую правду войны. Иногда в газетах появлялись и его стихи. Не все, что он печатал, мне одинаково нравилось, но кое-что западало прямо в душу:

Облака луну таят,
Звезды светят скупю.
Сосны зимние стоят,
Как бойцы в тулупах.

Командир усталый спит,
Не спешит савраска.
Под полозьями скрипит
Русской жизни сказка.

...Поглядишь по сторонам —
Только снег да лыжни.
Но такая сказка нам
Всей дорожке жизни!

Жил он тогда в гостинице «Москва». Как-то мы с Казиным заглянули к нему и увидели его словно бы постаревшим, осунувшимся. Утром того дня газеты глухо сообщили о неудаче одной нашей крупной операции на Южном фронте.

— Читали? — спросил Иосиф Павлович.

— Иосиф, — остановил его Казин, — послушай лучше, какие новые стихи написал Николай.

Уткин пожал плечами и, усевшись на диван, кивнул мне:

— Читайте, Коля.

Я прочитал стихотворение «Брату» — о единстве трудовых и боевых традиций в русском народе, — которое хвалили в редакциях, но печатать не решались: видели в нем чуть ли не прославление зажиточного крестьянства.

От гостей не прятались за прясло,
Гость пришел — он праздник в дом привел.
Масленица — значит сыр да масло,
Пасха — значит окорок на стол!

.....
Так неужто в этом доме сядет
Немец на дубовую скамью?
— Костылем прибую, — сказал бы прадед, —
Если вы да струсите в бою!

Чтобы спасти стихотворение, мне присоветовали дописать еще одну строфу для «прояснения идеи». Уткин сразу заметил ее.

— Не срамитесь, Коля. Сейчас же зачеркните эти строчки и выбросьте их из головы. Они портят все

впечатление... Нужно уметь ждать. И вообще не берите примера с тех поэтов, которые хотят нравиться одновременно всем. Ничего хорошего из таких потуг получиться не может.

Мне стало стыдно, и я послушался его, снял строфу. Стихотворение вскоре появилось в смоленской газете «Рабочий путь», выходявшей тогда в Москве. Правда, появилось после того, как его услышал на каком-то вечере начальник штаба партизанского движения Западного фронта Д. М. Попов. Он позвонил редактору и сказал ему, что такие стихи нужно печатать листовками и забрасывать нашим людям, оставшимся на занятой врагами земле. Я не преминул рассказать об этом Уткину.

— Вот видите, — довольно улыбнулся он, — есть же умные люди.

Когда у него вышла книжечка «Я видел сам», он подарил мне ее с лаконической надписью: «Николаю Рыленкову — Иосиф Уткин».

В начале 1943 года меня, по ходатайству Д. М. Попова, послали в распоряжение партизанского штаба, и я уже не мог так часто встречаться с московскими друзьями, но в каждый свой приезд старался повидаться с Уткиным. Помню, как обрадовался и взволновался Иосиф Павлович, услышав от меня, что его старое стихотворение «Я люблю пережитые были», написанное еще в двадцатых годах, стало любимой песней в одном из партизанских полков.

— Это, наверное, потому, что в тылу врага люди подхватывают все, где чувствуется живое дыхание гражданской войны, — старался он объяснить не то мне, не то самому себе такую неожиданную судьбу своего юношеского стихотворения.

Фронт откатывался все дальше на запад. Еще до освобождения Смоленска я был назначен главным редактором областного издательства. Его предстояло восстанавливать в разрушенном городе. Первые свои книги мы печатали в Москве, и я иногда встречался с Уткиным. Но нужно было налаживать выпуск литературы на месте, и мне все реже удавалось вырваться в столицу.

Осенью 1944 года, приехав по каким-то делам в ОГИЗ, я прочитал в одной из газет фельетонную рецензию на книжку избранных стихов Уткина «О родине. О дружбе. О любви». Автором ее, как назло, оказался мой хороший знакомый, очень по-доброму относившийся к моим стихам. Увидеть его подпись под несправедливой рецензией мне было особенно огорчительно. «До чего же живучи критические схемы и предвзятые мнения, если даже такой человек не может вырваться из их лап», — думал я. Встретив его случайно в трамвае, я стгоряча наговорил ему резкостей, тоже, наверно, несправедливых, и уехал в Смоленск в отвратительном настроении. Самое обидное было в том, что я не смог поговорить с самим Уткиным. Он был на фронте. А через несколько дней газеты принесли скорбную весть о гибели поэта в авиационной катастрофе.

Прошли годы, десятилетия. Забылось многое, но лучшие стихи Уткина не забыты. Его книги встречаются неизменно добрый прием у читателей. И вот я держу его томик, изданный в основанной Горьким «Библиотеке поэта», что уже свидетельствует о сопричислении поэта к лику классиков. Держу и думаю о том, как бы радовался Иосиф Павлович наступившему у нас расцвету лирической поэзии. И еще я думаю, что и сам он сделал немало для приближения этого расцвета.



Чердак с синими лампочками

Трудно вспоминать про того, кого знал долго, но не близко, хотя и любил как литератора.

В литературе Иосиф Уткин появился внятно, своеобразно. «Повесть о рыжем Мотэле» была литературным событием, новым голосом, новой конкретностью восприятия близкого прошлого.

Я много раз говорил с Уткиным, но вспомнить его хочу таким, каким он был на чердаке писательского дома в Лаврушинском переулке. Было это в первые дни войны, на чердаке горели синие лампочки: затемнение.

В разговоре в то время, когда неожиданно рухнула Франция, шли бои в Греции, бомбардировался Лондон, у нас фашистов называли «наши заклятые друзья».

Они не были друзьями — они были соседями, которых мы очень не верили.

Но те летние дни, когда произошло нападение фашистов, наступили неожиданно.

Затемнили окна, собирали ополчение, насыпали песок на потолках чердака, завели дежурства, выдали деревянные лопатки-совки, только что сколоченные из

белого дерева; на такую лопатку надо было подцепить зажигалку и бросить ее вниз, на мостовую. В пролетах лестниц повисли длинные брезентовые рукава: на случай пожара. Все двери на лестницу были открыты. Наспех устроили бомбоубежище. Ночью над городом висели, светя зеленым пламенем, «ихние» осветительные, снабженные парашютами, магниевые, мертвые факелы.

Самолеты пролетали так близко, что с крыши, казалось, можно было увидеть лицо летчика.

На чердаке дежурили люди, из них многих уже нет в живых.

Борис Пастернак, Всеволод Иванов — спокойный, как будда, Сельвинский и я, с белой мохнатой коротконогой собачонкой, которая от страха все время спала.

Тени домов при свете медленно спускавшихся осветительных ракет, казалось, шатались.

Позднее — во время победных салютов — ракеты (наши) были цветные. Тени тоже порозовели и качались, как будто танцевали.

А тогда я увидел спокойно и нервно веселого, очень красивого Иосифа Уткина. Он был начальником нашей пожарной охраны, при нем постоянно был спокойный, стройный, тогда еще молодой Иван Халтурин: они вдвоем были на железе крыши. Я их так и помню на этом металле — по памяти красном, а на взгляд при свете ракет — зелено-синем.

Да, я забыл сказать, что днем молодые женщины в солдатских шинелях проводили по улицам, как больших серых слонов, аэростаты заграждения: вели, как будто под уздцы; улицы для них казались узкими.

Ночью ахали зенитки, звенели осколки. На далеких крышах желтым горели еще не сброшенные зажигалки.

Бомбили (как мне казалось) Третьяковку — она была напротив.

Однажды ночью бомба, небольшая, пробила крышу, настил и два перекрытия. Взорвалась она в левом флигеле дома. При свете зажигалок через слуховое окно, на фоне освещенного неба, я увидел черноглазое, спокойное, как будто даже довольное лицо Уткина: он смотрел на нас.

Он был доволен тем, что дом не рухнул.

Он был настоящим командиром мирных людей.

Утром вошли в разбомбленную квартиру: это была квартира Паустовского. Бомба пронзила ее, взорвалась ниже, подняла пол, но пол уперся в поднятый взрывом шкаф.

В ярко освещенной комнате на разбитой клетке сидел желтый кенарь и пел при свете солнца.

Спел что-то очень короткое, потом упал мертвым на пыль и мусор взрыва.

С крыши было видно, что где-то далеко горит толевый завод: поднимались вверх густые, коричнево-черные клубы смолистого дыма.

По улицам шли люди на работу.

Спокойный Уткин сидел на чердаке и на листке бумаги писал расписание дежурств на крыше.

В ту ночь фашистская бомба упала на двор «Мосфильма», она взорвалась недалеко от ям, в которых были зарыты негативы, и погубила много картин, в том числе «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна.

Раны, которые наносит война, видны не сразу, они болят долго, есть среди них такие, которые не заживают.

В ту ночь взрывная волна контузила Илью Сельвинского.

Уткин поехал на фронт, потом вернулся с разбитой рукой, потом уехал и уже не вернулся: матери его долго потом говорили, что сын жив и он еще придет.

С фронта приехал Гайдар. Выступал в Союзе писателей, рассказывал: «Я приехал, а сын спросил: «Папа, что такое храбрость?» Я ответил: «Когда в дом, в котором ты живешь, попадет бомба, и все закричат, ты старайся не закричать или кричать негромко; если тебе это удастся, утром будешь доволен. Это и есть храбрость».

В стаде московских крыш под первыми налетами фашистов молодой Уткин был весело храбр. Всеволод Иванов был печально храбр. Борис Пастернак как бы удивлялся на войну. И спокойно переступал через страх.



В трудные дни

Со дня нашей первой встречи прошло немало времени, но образ Иосифа Уткина не тускнеет в моей памяти.

Мы встретились впервые в августе 1941 года. Немецко-фашистские захватчики рвались к Москве, и нашим войскам приходилось вести тяжелые бои. Командование требовало от разведки исчерпывающих сведений о противнике, его силах, действиях и намерениях. А сведения с переднего края нередко оказывались далеко не совершенными, ибо связь часто прерывалась, и донесения от наших войск либо поступали с опозданием, либо не поступали совсем.

Однажды, ранним августовским утром, в разведотдел штаба Брянского фронта была доставлена небольшая группа пленных немецких солдат, и мы торопились приступить к их допросу. Не успел я отдать распоряжение ввести первого пленного, как раздался гудок полевого телефона: из политотдела фронта сообщали, что к нам направились три работника

¹ Л. М. Максимов — бывший заместитель начальника разведки Брянского фронта.

фронтowej печати, которым нужно предоставить возможность присутствовать при допросе.

Вскоре в занимаемую нами избу вошли трое в военной форме летнего образца без знаков различия. Первым, мягко и как-то застенчиво улыбаясь, представился блондин с голубыми глазами:

— Леонид Ленч.

Второй, жгучий брюнет, высокий и стройный, лихо щелкнув каблуками, произнес:

— Уткин.

Третий, небольшого роста, чуть сутуловатый, отрекомендовался:

— Рахтанов.

С первых дней нашего знакомства Иосиф Павлович стал частым гостем разведотдела фронта. Мы старались снабжать его самыми последними сведениями и материалами, которые он с большим мастерством использовал как во фронтowej, так и в центральной печати. В свою очередь, правда, в очень редкие свободные минуты, мы собирались у него в палатке, где он добросовестно просвещал нас, кадровых офицеров, в вопросах литературы, искусства, читал свои стихи. Я никогда не видел его отдыхающим или празднующимся: всегда в движении или за машинкой, но без тени спешки или нервозности.

Мужественный, смелый, он при любой возможности стремился попасть на передовую, в боевые расположения войск. «Хочу все видеть своими глазами,— неоднократно говорил он мне,— хочу принять участие в бою рядовым красноармейцем, с автоматом в руках». Это была не красивая фраза, и ранение Уткина красноречивое тому доказательство.

Особенно близко свел меня с Иосифом Павловичем

один непредвиденный случай, после которого я могу с полным правом говорить о том, что мы стали искренними, глубоко уважающими друг друга товарищами. По заданию командования я собирался выехать в расположение одной стрелковой дивизии, откуда долгое время не было сведений о действиях противника. Когда я садился в машину, ко мне подошел Уткин и, узнав, куда я еду, попросил захватить его с собой.

— Сейчас оформлю свой отъезд, подождите меня, пожалуйста, десять — пятнадцать минут, — сказал он и поспешно удалился.

Минут через десять мы выехали. Путь наш лежал сначала по шоссе, затем по проселку, с трудом перебиравшемуся через болотистые лесные поляны. Навстречу нам попадались разрозненные воинские подразделения, группы солдат и беженцев — вперемежку с обозами и подводами. Пока мы медленно так продвигались, стемнело, и нам пришлось заночевать в небольшой деревушке — в непосредственной близости от линии фронта — в доме местной учительницы. Она ушла к соседям, предоставив свой домик в полное наше распоряжение. Спать не хотелось, и мы разговорились...

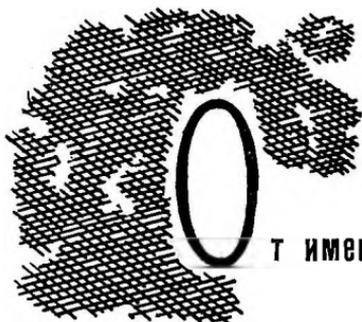
Мы беседовали до рассвета, искренне и откровенно делясь своими взглядами на войну, на людей, на политику и на многое другое. В эту августовскую ночь 1941 года Иосиф Павлович страстно говорил, что каждый из нас не может не задуматься о своем личном вкладе в общее дело. Не важно, убежденно сказал он мне, много или мало лет мы живем — ты, он, я — на этой земле, главное, что годы прожиты в общей борьбе за новый мир, за самое справедливое общество на земле, что ты вместе со своим народом прошел этот нелег-

кий и славный путь, радуясь его радостями, болея его болями, сражаясь и побеждая вместе с ним.

Сейчас трудно, конечно, воспроизвести эту беседу дословно, но, вспоминая общее впечатление, я могу с полным правом сказать, что, несмотря на мрачную обстановку — отход наших войск и успехи врага, поэт-гражданин Иосиф Уткин непоколебимо верил в победу нашего народа.

Через несколько дней я узнал, что он тяжело ранен и отправлен в Москву. Оказавшись в столице, я поехал в Барвиху навестить раненого поэта. Мой первый вопрос оказался, очевидно, традиционным, ибо Иосиф Павлович очень коротко ответил: «С комиссаром Шлихтером я пошел на передовую. Войска готовились к контратаке. В лесу, где они находились, Шлихтер выступил с речью. Я читал стихи, беседовал с бойцами. Ну, а потом началось наступление, к сожалению неудачное, пришлось отходить. Противник открыл артиллерийский огонь, и вот, как видишь, четырех пальцев нет».

Рассказывает, а сам улыбается. Так в разговоре и пролетело быстро время. Наступил час, когда пора было прощаться. Не скрою, на глазах моих были слезы. Но мог ли я думать в эти минуты расставания, что это наша последняя встреча и что не суждено ему, поэту и бойцу, написать большое эпическое полотно о героической борьбе советского народа, о котором он мечтал. Но фронтовая лирика Иосифа Уткина навсегда останется в советской поэзии как яркое свидетельство плодотворного содружества муз и орудий...



Т имени сверстников

1. МОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ПОЭТ

Мы знали друг друга давно, очень давно. Примерно с середины двадцатых годов. В Луганске, в заводском клубе, вечером кто-то из ребят прочитал стихи:

И песни пел,
И в пламенные чащи
Всегда душевное носил в груди!
И быть хотел
Простым и настоящим,
Какие будут только впереди.

В этих строчках прозвучало то, о чем каждый из нас думал, к чему стремился. Я не называю фамилии поэта, глубоко убежденный в том, что любой мой сверстник, вновь услышав эти стихи, уверенно скажет: «Это — Иосиф Уткин. Мой комсомольский поэт».

Поэты у революции были разные и по-разному, в меру отпущенного им таланта, оказывали влияние на свое поколение. Одни писали стихи громкие и чеканные, как марши, другие слагали оды и кантаты, третьи мирно и мерно журчали, четвертые слыли фило-

софами. Каждый из них имел своих почитателей, свою аудиторию. Но был еще и Иосиф Уткин: он не поучал, не вещал, не провозглашал, а дружески, искренне беседовал о том, что волновало каждого из нас, комсомольцев двадцатых годов, в отдельности.

В тот вечер прозвучало несколько стихотворений Иосифа Уткина. Не все я запомнил, но отдельные строчки словно впаялись в душу и живут в ней, приходя на ум каждый раз, когда всплывают в памяти воспоминания о нашей юности. Да, мы действительно близко знали друг друга. Нет, не лично, просто Иосиф Уткин хорошо знал свое поколение, а мы — его стихи.

2. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, УТКИН!»

Познакомился я с Уткиным летом 1941 года. Много раз я звонил в ГлавПУР майору, ведавшему кадрами военных журналистов, пытаюсь узнать, скоро ли отправят меня на фронт, и неизменно получал ответ: «Мы вам сообщим. Будьте наготове». Кончился июнь, прошел июль, начался август, а я все выслушивал эти две фразы. И тогда я попросил редактора газеты «Гудок», в которой работал, послать меня в командировку на прифронтовую дорогу, о чем и уведомил майора из ГлавПУРа.

Перед самым отъездом я забежал на минутку в редакцию, чтобы сдать в номер статью фронтового корреспондента. Уже запирая за собой дверь кабинета, услышал телефонный звонок. Возвращаться очень не хотелось — до отхода поезда оставалось меньше часа. Но телефон звонил настойчиво, и я вернулся.

— Новицкого, — раздался властный голос в трубке.

— Я слушаю...

Звонили из ГлавПУРа. Вызывали к бригадному комиссару Баеву за назначением на фронт.

В большой комнате за письменным столом сидел высокий, худощавый, бледный от усталости человек. Напротив него спиной к двери — двое штатских: высокий, стройный, в хорошо отглаженном костюме, и маленький, верткий, нервный.

Бригадный комиссар взглянул на меня вопросительно.

— Новицкий, — сугубо по-штатски представился я. — Вы меня вызывали.

— Знакомьтесь, — сказал начальник отдела печати. — Ваши будущие сослуживцы: поэт Иосиф Павлович Уткин и ответственный секретарь редакции «На разгром врага» Аркадий Яковлевич Митлин. А это начальник отдела информации фронтовой газеты Борис Новицкий. Пристраивайтесь и вместе идите к полковому комиссару Баеву...

— А мы у кого?

— У Баева, начальника отдела печати. А есть еще Баев — кадровик. У него получите предписание. И с богом на фронт...

Получив у Баева-второго предписание, мы отправились в Народный комиссариат обороны экипироваться. Выдавала обмундирование маленькая, худенькая, немолодая женщина.

— Какую обувь носите? Размер? — деловито осведомилась она.

Мы назвали. Кладовщица положила на прилавок кирзовые сапоги.

— Это нам? — удивился Уткин.

— Да, вам.

— А других, получше, нет?

— Не положено.

— Не положено? Почему? Мы — старший начсостав. И нам положено все, что положено им, — пояснил Иосиф Павлович.

— Не могу. Вы едете на фронт...

— А кто может?

— Клеопатра Петровна.

— Позовите ее.

— Стоит ли, Иосиф Павлович? — попытались вмешаться мы.

— Потом поговорим, — бросил он в ответ.

Кладовщица нырнула в дверь и через минуту вернулась с молодой, статной женщиной, явно привыкшей распоряжаться.

— Кто из вас Уткин? — поинтересовалась она.

— Я.

— Поэт?

— Да... если верить приказу Мехлиса, — не без иронии подтвердил Уткин.

Мы с Митлиным удивленно переглянулись.

— Выдайте Иосифу Павловичу комплект повседневного обмундирования старшего начсостава, — приказала Клеопатра Петровна своей помощнице, у той глаза на лоб полезли.

— Одну минуточку, Клеопатра Петровна... Видите ли, я не один. Нас трое. И им положено все, что и мне.

Этого ни она, ни мы никак не ожидали. Ярко-синие глаза Клеопатры Петровны превратились в льдинки и глядели холодно и осуждающе.

— Не сердитесь... Я не из тех, кто оставляет товарища в беде, — не то шутя, не то серьезно сказал Уткин.

— Я — тоже, — в тон ему ответила Клеопатра Петровна. И мы увидели, как оттаяли льдинки в ее глазах,

распрямились на лбу морщинки и веселая улыбка разжала губы.— Рискнем, Валюша...

Из автомата мы позвонили своему новому редактору Александру Михайловичу Воловцу.

— Сегодня заканчивайте свои дела,— любезно сказал он.— А завтра в десять все собираются у меня. Вечером уезжаем на фронт...

Мы распрощались, и каждый отправился собираться в дорогу. Я и не подозревал тогда, что знакомство с Уткиным перерастет на фронте в хорошие, дружеские отношения.

3. ЧЕСТЬ МУНДИРА

Без четверти десять я был на улице Полины Осипенко. У входа в редакцию «Красного воина» прохаживался Иосиф Павлович. Он окинул меня ревнивым взглядом старшины.

— Ничего! Только над заправочкой вам придется поработать. Форма обязывает...

— Стоило ли ее добиваться, Иосиф Павлович? Все-таки на фронт едем.

— Да вы, я вижу, совсем младенец. Вам придется встречаться с командирами дивизий и корпусов, брать интервью у командующих армиями; уверяю, что ни один адъютант не пропустит к своему начальнику замухрышку. Разве я из амбиции настаивал вчера? Ради пользы дела. Честь газеты в большом и малом волнует меня.— И, взглянув на часы, Уткин закончил: — Пошли, старик, знакомиться с шефом и с коллективом. Как-то все сложится? — вздохнул он.

Александр Михайлович Воловец произнес краткую, по-военному четкую речь, представил всех друг другу и рассказал, кто чем будет заниматься.

— Приказом товарища Мехлиса на должность поэта назначен Иосиф Павлович Уткин, на должности писателей — Леонид Сергеевич Попов-Ленч и Исая Аркадьевич Рахтанов.

Услышав, что Уткин «назначен на должность поэта», я чуть не прыснул: только теперь стал ясен смысл фразы, услышанной в интендантском складе...

— У кого есть вопросы ко мне? — спросил Воловец.

— Только один: что можно брать с собой?

— Полотенца... бритву.

— А простыни, одеяло? — послышался голос Уткина.

— Что вы! — возмутился какой-то служака.—
Фронт...

Воловец поднял глаза и с легкой иронией заметил:

— И на фронте, видимо, поспать захочется, помыться.— И потом, размышляя вслух: — Фронтная газета, вероятно, будет находиться километров за пятьдесят от передовой... Возьмите все-таки по паре простыней и тонкому одеялу. А впрочем, черт его знает, что на фронте понадобится, сам первый раз еду...

Простота, с какой все это было сказано, сразу же подкупила нас, расположила к редактору, заставила поверить в то, что мы встретились с человеком, на чью поддержку можно твердо рассчитывать.

15 августа мы выехали в Брянские леса, где формировался новый, Брянский фронт, которому до зарезу нужна была своя газета.

4. ПОЭТ ВО ФРОНТОВОЙ ГАЗЕТЕ

С первых же дней Иосиф Павлович впрягся в редакционную колесницу: писал стихи, статьи, заметки, зарисовки, ходил на допросы пленных, ездил на передний край, сочинял листовки для политуправления фронта, воспитывая у бойцов ненависть к фашизму и веру в грядущую победу.

Первый номер газеты венчала «шапка»: «Врагу не сломить нашу волю и силу. На нашей земле обретет он могилу». На следующий день газета призывала: «В схватке смертельной за нами победа! Огнем и железом сметем людоедов!» 21 августа появилось стихотворение Уткина «Бабы» — рассказ о том, как вооруженные гранатами женщины взяли в плен трех фашистов.

Случилось, что пачку газет, где были помещены эти стихи, мне пришлось доставить в часть, только что отведенную во второй эшелон. Попав часа через три в роту, я услышал смех: «Вот так бабы!», «Ну и молодцы!» Бойцы уже цитировали строку из стиха: «Вот так штука, черт возьми!» В их восклицаниях сквозило откровенное презрение к врагу.

Такое же настроение рождало и другое стихотворение — «Старик», появившееся в газете спустя несколько дней. Русский дед перехитрил фрицев и взорвал танк, оставленный гитлеровцами на полустанке под его присмотром. Затем появилось — задолго до «Убей его!» Симонова — стихотворение-письмо Уткина к партизанам: «Уничтожайте их повсюду». Я припоминаю, что оно было написано для листовки и сброшено с самолетов в тылу врага. Насколько я знаю,

стихотворение это не входило в сборники поэта. Есть резон привести его полностью:

Стреляйте с крыш! Палите в окна!
Садите в фортку! Бейте в дверь!
Пусть от свинца повсюду дохнет
Многоголовый этот зверь.

Уничтожайте их повсюду,
Как в дом пробравшихся клопов!
Крушите грязную посуду
Тупых арийских черепов!

Пусть лес горит! Пусть пуля свищет!
Пусть гадам дышится с трудом,
Пока мы к цели не придем!
Пока от гадов не очистим
Советский край, родимый дом.

Уткин первым отправился на допрос пленных и своим очерком положил начало новому разделу в газете «Фашистские молодчики в плену» (так называлась его статья). Рвение, с каким Уткин работал, восхищало всех. Он, сам того не подозревая, служил для нас эталоном фронтового журналиста. Даже теперь, спустя четверть века, встречаясь в Доме журналиста, в редакциях и вспоминая первые дни воинской жизни, мы, его сослуживцы, единодушны в главном: сотрудничество, общение, встречи с поэтом дали нам чрезвычайно много.

Не скрою, вначале мне не нравилось, что Иосиф Уткин берет за все. Хотелось, чтобы он писал стихи, делал именно то, ради чего его «назначили» поэтом. Не раз я собирался сказать ему об этом, но побаивался, что он неверно поймет меня и обидится. Однако такой разговор все же состоялся.

Уткин сидел на пенке и что-то сосредоточенно писал. Подняв голову и увидев меня, спросил:

— Вы очень заняты сейчас? Нет? Может, немного пройдемся?

Просека, по которой мы шагали, казалась бесконечной. Корабельные сосны стояли стеной.

— Метнемся в кусты,— с озорным блеском в глазах предложил он.

Свернув в сторону, мы очутились в густом ельнике, настолько густом, что яркое полуденное солнце не в силах было пробиться сквозь разлапистые ветви. Все окутал вечерний полумрак. Лес ровно шумел, навевая спокойствие и умиротворенность. И вдруг в эту тишину ворвался вой моторов вражеских самолетов. Они были где-то высоко в небе, летели, как обычно, на восток, к Москве. Иосиф Павлович поднял голову, прислушался и вдруг рассвирепел:

— Подумать только: десяток бомб—и от этого поэтического уголка останется одно воспоминание.— В его голосе было столько душевной боли, что передать ее словами невозможно.

Мне показалось, что наступил удобный момент высказать свои соображения о роли поэта на фронте, и я сказал:

— Зачем вы беретесь за все? Будничную корреспондентскую работу есть кому делать. Ваши хроникерские заметки, право, не нужны.

— Послушайте, Новицкий! Все не так просто, как иной раз нам кажется. Фронт только что создан, дивизии сформированы в основном из запаса, в боях еще не были... Сейчас, пожалуй, полезнее показывать солдату истинное лицо фашистов, научить ненавидеть врага... Вот вчера привезли трех пленных фрицев.

Видели, какой «прием» им устроили бойцы? Потчевали хлебом и салом, угощали папиросами. А враг уже на Десне! Потому и хожу на допросы. А начнутся бои — вы будете дубасить фрицев в фельетонах и статьях, а я буду славить героев. И потом... Я ведь всегда предпочитал негромкий голос. Боюсь сфальшивить...

В голосе поэта звучала неуверенность. Подобно многим писателям тех лет, он подолгу размышлял над тем, где место поэта: в цепи атакующих или в редакции. Помню, шли мы втроем по лесу. Старший политрук Яков Файншмидт сказал:

- Люблю ваш «Расстрел».
- Я его тоже люблю, — откликнулся автор.
- Прочтите, если можно...

Уткин начал читать. Когда он произнес: «Могу и душу подарить — вон там, за следующей горкой...», Яша заметил:

- У вас, Иосиф Павлович, раньше не так было...
- А как?
- «Бросая хлеб, не прячут корку...»
- Вы помните? — удивился и обрадовался поэт.
- Я помню многие ваши стихи из сборника тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

- Ну-ну, — недоверчиво протянул Уткин.
- Могу прочесть...
- А ну давайте!

В лесу зарокотал бас Файншмидта. «Письмо», «Налет», потом «Гитара», «Сунгарийский друг», «Ветер», «Октябрь», «Закат»... Иосиф Павлович слушал свои стихи в чужом исполнении так, будто мысленно проверял что-то.

- А я иногда думал — прошло мое время...

— ?!

— Мало печатают и много ругают: сентиментальность, надрыв, мелкобуржуазность, романсовая чувствительность...

— Но вы же давно всем ответили.— И Файншмидт прочитал: — «Друзьям, как эстафету, мы, умирая, песнь передаем. И эта песнь простреленной, пропетой, как колыбель, как молоток, в работе под рукой...»

— Да,— улыбнулся Уткин,— но почему-то не все со мною соглашаются...

5. НЕМНОГО О ПРОСТОТЕ И ТОВАРИЩЕСТВЕ

На фронте все ходили в полевой форме, но у нашей тройцы, экипированной в Москве, ее попросту не было. В своих тонких шерстяных гимнастерках, парадных фуражках, хромовых сапогах мы заметно выделялись на общем фоне. К тому же у нас не было знаков различия. Это иной раз создавало комедийные ситуации.

Несколько раз я сопровождал редактора в штаб. И каждый раз встречные ели глазами начальство и с особым рвением отдавали честь. Я не придавал этому никакого значения: козыряют редактору, полковому комиссару. Однажды мы шли втроем: Воловец, Уткин и я. Нам повстречался генерал-майор и первый, с лихостью старого служаки, отдал честь. Когда он прошел, Воловец, человек исключительно тонкий и с большим юмором, вдруг остановился и начал хохотать — я впервые видел его таким веселым.

— Послушайте, Уткин, это ведь вам козыряют, а не мне. Вас принимают за члена Военного совета.

— Что вы надо мною потешаетесь?..

— Да нет. Честное слово! Член Военного совета

фронта — секретарь Орловского обкома партии — пока не носит знаков различия. А так как он сравнительно редко бывает на командном пункте, то его мало кто знает. Вас тоже мало знают — вот вам и козыряют...

В одном Воловец ошибался — Уткина знали многие. Сотрудники редакции, ездившие с Иосифом Павловичем в 13-ю армию, рассказывали потом, что достаточно было ему появиться в своем полуштатском-полугенеральском виде, назваться и протянуть руку, как лица расцветали улыбками. Шансы поэта поднялись еще выше, когда во время авиационного налета все полезли в щели, а он совершенно спокойно зашагал дальше. «Поэты любят позу», — попытался объяснить какой-то молоденький лейтенант-скептик. У Уткина это не было позой — он действительно никогда не праздновал труса.

Дней через десять пришел приказ из ГлавПУРа о присвоении нам воинских званий. Редактор извлек из чемодана кубики и шпалы и с явным удовольствием вручил их нам. Уткин получил свой первый чин. По званию он был старше многих других, но, как и прежде, держался ровно и просто.

6. «МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ ЭТОТ ЧАС...»

Брянский фронт, закрепляясь на отведенных ему рубежах, вел бои местного значения и готовился к контрудару. Редакция работала над специальным выпуском — без даты, как этого требовала секретность. Номер предполагалось доставить к началу контрудара. Газета должна была звать в наступление, а не к активной обороне, что она делала до сих пор. Приходилось учитывать и пополнившие фронт новые дивизии: бойцы еще не нюхали пороха. Им придется прорывать

вражескую оборону, преодолевать шквал огня, которым встретят их гитлеровцы, драться, если понадобится, врукопашную. Не легко это необстрелянному солдату. Газетное слово должно было не только агитировать, но и учить, напомнить в канун наступления каждому, что и как делать в бою.

Сотрудники редакции обдумывали план спецвыпуска. Надо ли, например, давать передовую статью?

— Обычную нет,— высказал свое мнение Уткин,— она ни к чему. В обращении Военного совета фронта все будет сказано. На место передовой давайте поставим стихи...

Редактору эта мысль понравилась.

— Напишите, Иосиф Павлович?

— Напишу,— загорелся Уткин.— К вечеру будут...

Вечером редактор собрал тех, кто еще был в редакции, и все услышали необычную передовую:

Мы долго ждали этот час,
Но ждали мы его недаром:
Когда, удобно изловчась,
Мы опрокинем их ударом!

Он будет смел, он будет яр,
Удар решительный, без дрожи.
Мы в этот яростный удар
Всю нашу страсть, всю душу вложим.

В нем будет все, что только есть
В сердцах, обидой раскаленных:
И гнев бойца, и боль, и месть
На бой рванувшихся миллионы!

И враг презренный не уйдет
От нашей мести, где б он ни был.
Сегодня враг в бою найдет
Свою заслуженную гибель.

За горе наших матерей,
К победе мы пройдем по трупам
Врагов... И мы умрем скорей,
Чем хоть на шаг один отступим.

— Пойдет? — спросил у нас редактор.

— То, что надо... И коротко и ясно.

— В набор,— и Воловец передал листок Митлину.

— Еще что вы написали?

— С Женей Ведерниковым приготовили карикатуры с текстом в стихах. Может, пойдут.

Москвич-карикатурист Евгений Ведерников показал два рисунка. На первом — изображен Геббельс с узким крысиным черепом, около портрета стоял дюжий гориллообразный фашист. Под рисунком шли стихи Уткина:

Халтурит Геббельсова челядь:
Профессор делает доклад
О том, что, мол, арийский череп
Особенный имеет склад.

На втором был нарисован приклад русской винтовки. Невидимый красноармеец опускает его на голову врага. Стихи под ним звучали так:

Но, слово взяв для содоклада,—
Смотрите, как болтун померк! —
Боец при помощи приклада
Легко «науку» опроверг!

— Что ж, вполне подходит, Иосиф Павлович. Спасибо!

— И вам спасибо! — поблагодарил он, совсем как

начинающий поэт: скромно, обрадованно, но горделиво и с достоинством.

В канун контрудара Брянского фронта Иосиф Павлович, как и все мы, уехал на передний край. Его включили в бригаду политического управления фронта, которую возглавлял полковой комиссар А. А. Шлихтер — сын старейшего большевика и одного из выдающихся государственных деятелей ленинской выучки Александра Григорьевича Шлихтера. На какой именно участок фронта они отправились, я не знаю, так как сам уехал чуть раньше. Одни утверждают, под Жуковку, другие — под Почеп. Когда же через 4—5 дней я вернулся в редакцию, то узнал, что Уткин ранен и командование отправило его в Москву.

Встретив Шлихтера, я поинтересовался, как все произошло. Вот что он рассказал. Бригада политуправления приехала в батальон, расположившийся в лесу, провела митинг, на котором со страстной речью выступил и Уткин. Бойцы попросили его прочитать стихи. Он охотно выполнил это пожелание. На лесной полянке зазвучала наша передовая в стихах «Мы долго ждали этот час», «Песня об убитом комиссаре», «Любовная-говорная», «Песня о младшем брате». Митинг закончился. Пора было перебираться в другую часть. Но Иосиф Уткин заупрямился: «Проводим батальон на исходные позиции и тогда уйдем...» Никакие уговоры не помогли. На рассвете бригаду накрыли немцы минометным огнем. «Больше всего пострадал старший батальонный комиссар Богданов — он получил несколько ран. Уткину, который шел рядом с ним, оторвало пальцы... А я, как видите, совсем невредим»...

Все это записано в моем фронтовом блокноте.

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ФРОНТ

До нас доходили слухи, что Уткин в Ташкенте, в госпитале. Прошло полгода, и неожиданно пришло подтверждение этому.

В начале войны сотрудник редакции Лев Рубежовский потерял связь со своими родителями. Он знал, что их эвакуировали, но долго не мог узнать куда. Однажды полевая почта доставила ему пакет из Средней Азии. Письмо было от отца и начиналось с рассказа о том, как он узнал адрес сына. Задумавшись, отец шел по улице и вдруг услышал: «Рубежовский!» Оглянувшись — к нему с раскрытыми объятиями спешил старый приятель. Поцелуй, объятия, вопросы: «Ты куда?» — «А ты откуда?» Друзья так увлеклись воспоминаниями, что не заметили, как к ним подошел военный.

— Кто из вас Рубежовский?

— Я, а что?

— У вас есть в армии сын?

— Есть.

— Как его зовут?

— Лева.

— Запишите адрес и напишите ему, он вас все время разыскивает.

— Я его тоже ищу. А откуда вы знаете, где он?

— Мы вместе были на фронте и работали в одной редакции.

— Простите, как ваша фамилия?

— Иосиф Уткин. Передайте ему привет от меня.

— Это в стиле Уткина, — сказал кто-то из работников редакции, услышав рассказ Льва Рубежовского. Да, это было в его стиле.

Летом сорок второго года, когда началось наступле-

ние немцев на Дону, я заболел. Начальник политуправления фронта дивизионный комиссар Афанасий Петрович Пигурнов, заехав в редакцию и узнав, что нужен врач-специалист, приказал отправить меня в столичный госпиталь. В Москве я поселился в гостинице «Центральная». Мне было предписано в определенные часы являться на прием к профессору, а остальное время лежать. Но у меня было задание — достать шрифт для казахского издания газеты «На разгром врага». Задача не из легких; я мотался по городу весь день, поздно возвращаясь в гостиницу. Никто в Москве не знал, что я приехал. Каково же было мое удивление, когда портье, снимая ключ с доски, сказал, что меня разыскивал Иосиф Уткин и просил позвонить ему.

Я сразу же позвонил по оставленному номеру.

— Здравствуйте, Иосиф Павлович! Говорит Нювицкий.

— Что вы сейчас делаете?

— Собираюсь отдыхать... Набегался за день...

— Не выйдет. Сейчас же приходите ко мне.

— Уже поздно. И у меня нет ночного пропуска.

— Очень прошу вас зайти, нужен ваш совет.

— Где вы и как к вам добраться?

— Гостиница «Москва».

Через десять минут мы обнимались. Потом он представил меня своему другу (московскому журналисту — фамилию я запомнил) и деловито сообщил:

— В два часа ночи за мной заедет Костя Симонов. Он едет на Сталинградский фронт и подбросит меня в Ефремов. Я хочу вернуться на работу в нашу редакцию, а вот он меня отговаривает...

— Получив два редакционных удостоверения,— перебил его приятель,— «Правды» и Совинформбюро, ты можешь ехать куда хочешь, смотреть что хочешь...

Стук в дверь прервал его. Вошел Борис Лавренев, поздоровался, сел в кресло и осведомился:

— Все еще дуришь?

— Ничего вы не понимаете,— вскипел Уткин.— Не хочу быть кустарем-одиночкой...

— Ну, понесло! Теперь — держись! — усмехнулся Лавренев.

— А вы как думаете, Новицкий? — спросил Уткин.

— По совести говоря, я хотел бы видеть вас рядом. Но, пожалуй, они правы. В вашем возвращении в фронтовую газету, если подумать, нет особого смысла. Не тот масштаб...

— Слушай, что тебе говорят добрые люди,— вставил Лавренев.— Допустим, что Воловец возьмет тебя — значит, он кого-то другого откомандирует из редакции. Хорошо это? Потом... Брянский фронт сейчас в обороне, ведет бои местного значения. Когда он еще вступит в настоящее дело? А как корреспондент «Правды» ты можешь побывать на решающих участках, увидеть войну во всем ее масштабе и сложности, набраться впечатлений... Так ведь? — повернулся ко мне Лавренев.

— Ну, мы тоже не собираемся стоять на месте,— обиделся я.— На любом фронте писателю хватит работы. Но, конечно, возможности у корреспондента центральной газеты шире.

Уткин стоял на своем — он поедет во фронтовую газету. Спор явно затягивался. Тогда я предложил компромисс:

— Иосиф Павлович, поезжайте в Ефремов, посмотритесь... Решите, что лучше. К тому же ничто вам не помешает, работая в «Правде», писать для нас.

Уткин заколебался, но не сдался.

— Послушаю, что скажет Симонов...

— Услышишь то же самое,— пообещал Лавренев.

Видимо, он не ошибся. Когда в конце июля я приехал в штаб Брянского фронта и разыскал Уткина, он, словно отвечая на мой немой вопрос, произнес:

— Проверяю, кто из вас прав...

8. В ШАТРЕ ПОД ДУБОМ

К тому времени на Брянском фронте сменилось командование. И только начальником политуправленя фронта по-прежнему оставался дивизионный комиссар Пигурнов, горячо любивший печатное слово, понимавший его значение в боевой и политической подготовке бойцов. Пигурнов, как рассказал мне Уткин, встретил его приветливо. Поэту вручили орден Красной Звезды, которым его наградили еще в сорок первом году. Под вековым дубом поставили огромный, будто времен хана Кончака, шатер, а в нем стол, старинное кресло. Выделили машинистку. Иосиф Павлович жил в нем, писал стихи, посылал статьи в центральные газеты, ездил по фронту. Все дороги на Дон вели через деревню Лавровку Шиловского района, где помещался штаб фронта и где обитали корреспонденты всех газет. К нам заезжали Константин Симонов и Василий Гроссман, братья Тур, Александр Орвицкий, Леонид Кудреватых и Евгений Кригер. Однажды в «боярском шатре» появился П. А. Павленко.

Вечером на огонек к Уткину слетелся весь корреспондентский корпус. Павленко привез из Москвы самые свежие новости, а рассказчик он был отменный. Не скрою, пили в тот вечер и «плохо-ягодное вино», провозглашали тосты — один из них был традиционным: за то, чтобы все встретились в Москве. Расходились, когда загорелась утренняя зорька. Под самый конец Павленко обратился к Уткину:

- Иосиф, что нового ты написал?
- «Заздравную песню».
- Прочитай, пожалуйста.

Что любит, чем дышится,
Душа чем ваша полнится,
То в голосе услышится,
То в песенке припомнится.

А мы споем о родине,
С которой столько связано,
С которой столько пройдено
Хорошего и разного!..

— Как я завидую тем, кто умеет находить такие простые человеческие слова! — тихо сказал мне Павленко...

9. РЕЙС С МАНУИЛЬСКИМ

Через несколько дней на командном пункте штаба фронта состоялся митинг. Собрался весь командный состав. Выступали Дмитрий Захарович Мануильский и Георгий Федорович Александров. Они говорили о международном положении, об обстановке на фронтах, цитировали на память ленинские труды, выдержки из документов...

Первым говорил Мануильский. Закончив, он сел за стол и начал внимательно изучать аудиторию. Неожиданно Дмитрий Захарович поднялся и двинулся куда-то. Прямо против места, где стоял докладчик, он остановился, пригнулся и тронул чье-то плечо. Военный обернулся и тотчас же вскочил на ноги. Это был Уткин. Подходя к ним, я услышал конец разговора.

— Поедем с нами,— предложил Мануильский.

— С удовольствием. Но у меня нет машины.

— У нас есть.

— А это удобно?

— А почему нет...

В тот же день Иосиф Павлович уехал с Мануильским в одну из армий.

— Ездил по фронту,— доложил он через несколько дней.— Кстати, написал для вашей газеты статью «Митинг на передовой». Первая любовь всегда крепка,— пошутил Уткин.

14 августа 1942 года его корреспонденция появилась в газете «На разгром врага». Поэт подробно описывал митинг, настроения фронтовиков, слушавших Мануильского, учил, если хотите, политработников тому, как надо вести агитацию среди бойцов. Наша газета напечатала лишь часть статьи. «Как отнесется к этому Уткин?» — тревожился я. Мне не хотелось попадаться ему на глаза, но тропинка шла мимо шатра, и мы встретились.

— Ну как? — спросил я с индифферентным видом.— Сильно порезали?

— Все правильно. Целиком статья появится в «Правде».

И действительно, 26 августа «Правда» полностью опубликовала корреспонденцию Иосифа Уткина «Ми-

тинг на фронте». В ней были приведены любопытные подробности, подмеченные Уткиным, которых не было в нашей газете. Лишь об одном умолчал Уткин в статье. На этом митинге (да и на всех других) он читал свои фронтовые стихи. Об этом редакция узнавала из писем военкоров, которые хвалили «репертуар» Уткина: «Беженцы», «Если будешь ранен, милый, на войне», «Песню о родине и о матери», «Народный фонд» и многие другие его произведения 1941—1942 годов.

Голос поэта зазвучал громко и ни разу не сфальшивил: он воспевал подвиг народный, стойкость и самоотверженность советских людей. Но Уткин оставался Уткиным. В его произведениях по-прежнему преобладала светлая лирика, задушевность, народные интонации. Он разговаривал со своим читателем о самом сокровенном, о том, что волновало и поэта и нас, его сверстников.

По опубликованным произведениям можно вычертить схему передвижения Уткина по фронтам: Дон, Днепр, Киев, граница. Последнее его стихотворение, которое я прочел в одной из центральных газет в 1944 году, называлось «У костра». В нем есть такие строчки:

И если тебя у костра попросили
Прочсть, как здесь принято, что-то свое —
Прочи им, без крика, стихи о России,
О чувствах России к солдатам ее...

Да, Уткин умел писать без крика, читать без крика, драться так же напористо и уверенно, как солдаты России. Он и сам был рядовым революции. Но всегда шел чуть впереди своих сверстников-читателей. И в этом была его сила, сила его таланта.



Песня, мужество и руки

НОЧНЫЕ ЗВОНКИ

— Иосиф Палыч! Это снова я... Добрый вечер! Вы слышите меня?

— Здравствуйте! Честно говоря, вечер не очень добрый. У нас в Замоскворечье ужасно шумно. Говорите громче.

— Я и так уж кричу во всю глотку. Здесь, на улице «Правды», тоже шума хватает. Иосиф Палыч, опять срочное дело. На полосе оставлено место.

— Но мне надо идти на дежурство. Вы меня вернули с порога. Я вам через несколько минут позвоню. Только посты проверю. У нас там на верхотуре есть телефон. Вы у себя в отделе?

— Нет, на чердаке. Тоже дежурю. Если отбоя еще не будет, звоните прямо сюда.

— Давайте ваш номер. Повторите. Все ясно.

— Только сразу же...

— Милый, я старый газетчик. Вы еще под стол пешком ходили, когда я работал в «Комсомолке». Все понимаю.

А ведь верно. Как это я позабыл? Уж он-то понимает...

Я кладу трубку телефона, установленного специально для дежурных. Он внутренний, но, если набрать «ноль», послышится и гудок городской станции.

Просторный чердачный отсек с единственной синей лампочкой наполнен зыбкой, тревожной полутьмой. В проеме окна, ведущего прямо на крышу, как маятник, раскачивается узкий луч, порой высвечивая сумрачные углы, кули с песком, бочки с водой, наконец, огнетушители и длинные клещи, висящие на грубо оштукатуренной стене. Под ногами змеится брезентовый пожарный шланг. Объявлена воздушная тревога. Идет шестая неделя войны...

Резкий звонок телефона.

— Ну, вот и я. Выкладывайте, в чем дело.

— Иосиф Палыч! Нужны стихи, посвященные созданию народного фонда обороны. Люди обязуются отработать дополнительные часы в этот фонд. Многие вносят личные сбережения. Вот об этом... В номер. Через час, не позже. На полосе оставлено место.

Над головой стоит ровный гуд — кружатся «ястребки». А внизу верстается «Комсомольская правда». Все, кто сиюминутно связан с готовящимся номером, работают в приспособленных для этого укрытиях — дежурный редактор, секретарь, ночные машинистки. А те из нас, кому это положено, несут вахту на чердаках, на крыше, даже в Голубом зале, сплошная стеклянная стена которого вся перекрещена бумажными лентами. Но обязанности дружинников часто совмещаются с оперативной работой по номеру.

...Однажды, это было в начале июля, мне позвонил снизу начальник отдела фронта Юрий Жуков:

— Слушай, сейчас посылаем тебе пневматической почтой эпизод из сводки Совинформбюро. Закажи кому-нибудь из поэтов стихотворный отклик на первую полосу.

Поэтов в Москве оставалось мало. Большинство уже отбыло на фронт. Я вспомнил, что, кажется, еще не успел уехать Иосиф Уткин, со дня на день ждущий назначения. А пока он пишет для центральных газет. И еще командует дружиной ПВО в писательском доме на Лаврушинском.

Раздался стук пневматического патрона, и я извлек листок с отчеркнутым абзацем сводки. Сообщалось, что во время успешной контратаки в штыковом бою боец Петров заколол шестерых фашистов, боец Довжиков — троих.

Я позвонил Уткину, и через минут сорок он продиктовал мне три строфы, вскоре ставшие популярными. Я записал их для скорости сплошняком, а уж потом пометил для машинистки начала строк и пробелы. «Сильна народная натура, и знал у нас любой малец суворовское: пуля — дура, а штык (известно) молодец. Но время шло. Великий, смелый народ наш многое постиг. И пуля-дура поумнела. А как же штык?! А русский штык? В атаке грозной и суровой советский подтвердил боец, что в этой части прав Суворов и штык все так же... молодец».

С тех пор я не раз обращался к Уткину в тревожные ночные часы. Иногда он приезжал в редакцию. Жаловался:

— Ужасно затягивается мой отъезд. Образуется

новый фронт. Успокаивают — еще денек подождите, еще три...

И он ждал. Вещмешок, аккуратно уложенный, лежал в его кабинете. Среди самого необходимого, по-солдатски жестко отобранного в дорогу, была всего лишь одна книжка — томик Лермонтова. С таким же томиком он когда-то прибыл из Иркутска в Москву после гражданской...

— Удивительные наблюдения! — говорил Уткин. — Сколько нового открывает нам происходящее. Война переворачивает все банальные представления. Вдруг у человека, который в мирное время говорил басом, в опасную минуту голос оказывается очень тихим. И наоборот, скромница, тихоня, когда это понадобилось, мужественно выполняет свой долг. Выясняется, что некий гражданин, прежде числившийся образцом правильного поведения, сегодня не в силах выдержать экзаме́н. А трудный, ершистый, далекий от плакатного образца человек как раз и совершает героический поступок. Не будем сейчас говорить о больших подвигах. Возьмем наш Лаврушинский. Вы бы видели, как пожилые люди отказываются идти в убежище, все хотят на пост, на крышу. Все рвутся гасить зажигалки — Василий Васильевич Казин, Борис Леонидович Пастернак. Поразительно!

Между прочим, сам Уткин никогда в мирную пору не пытался говорить басом, лирика в его стихах явно преобладала над пафосом. То, что он в девятнадцатом, еще мальчишкой, ушел воевать, как-то подзабылось за последние годы. Люди, плохо знавшие Уткина, могли счесть его человеком избалованным, тщеславным, даже легкомысленным. А он оказался одним из самых подготовленных к военным испытаниям...

— Алло! Ну вот, записывайте. Стихотворение так и называется «Народный фонд».

Ты потому и дорога нам,
Земля, отбитая в бою,
Что нашей кровью чистоганом
Платили мы за жизнь твою...

Синий отсвет падает на блокнот, в котором я со стенографической быстротой фиксирую уткинские строки.

Продиктовав, он просит:

— Теперь прочитайте, что у вас получилось. Не мешаает сверить.

Я выполняю его просьбу.

...И мы не только труд недельный,
Не только золото и медь,
Любви сыновней беспредельной
Не станем для тебя жалеть...

Он выслушивает до конца.

— Все правильно.

— Тысяча благодарностей, Иосиф Палыч!

— А чего меня благодарить? Спасибо вам... Я снова чувствую себя штатным сотрудником «Комсомольской правды».

За много лет до этого его всегда можно было застать в редакции. Тогда она помещалась на Малом Черкасском. Уткин сидел в комнате с полуovalьным окном. Он ведал «Литературной страницей».

О эта комната! Сюда приходил Маяковский и читал только что написанные строки. Здесь впервые про-

звучали «Гренада» и «Дума про Опанаса». Сюда заглядывал редактор «Комсомолки» Тарас Костров: он любил слушать стихи.

— Когда-нибудь фасад дома на Малом Черкасском облицуют мрамором мемориальных досок,— сказал мне однажды Иосиф Уткин.

...В здании, где редактировалась тогда «Комсомолка», сейчас среди многих других учреждений располагается издательство «Детская литература». Но хоть прошло много лет, направляясь в Детгиз, входя в знакомый подъезд, я испытываю трепет. Так и кажется, что сейчас сверху спустится Тарас Костров, что на лестнице послышится бас Владимира Владимировича или тихий голос Михаила Аркадьевича.

Вот только мемориальных досок на фасаде пока не видно.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Познакомились мы с Уткиным давным-давно, в Киеве. Он приехал к нам в зените своей славы, и попасть на его вечера было нелегко.

Читал он в Радиотеатре «Повесть о рыжем Мотэле», лихо читал, зал восторгался, и поэма того заслуживала, ничего не скажешь. Удивительный это был сплав — романтика и мудрая ирония, высокие слова и жаргонные словечки, ликование и печаль.

Но, должен признаться, что-то мешало моему восприятию.

Что именно, я сразу понять не мог.

Скорее всего, меня раздражала излишняя театральность происходившего, привычная уверенность попу-

лярного поэта в своем обаянии, в том, что выступление его «обречено» на успех. Уткин держался на эстраде с той профессиональной свободой, когда естественность поведения заменена заученной непринужденностью, когда жест, интонация, взгляд выверены заранее. Какой-то во всем этом был перебор. Не хватало истинности волнения, косноязычия, что ли. Ну хоть бы разок споткнулся, забыл какую-то строчку, смутился на миг.

Возможно, сказала моя влюбленность в Светлова, которого я слышал перед этим. Михаил Аркадьевич всякий раз выходил читать, словно впервые в жизни, и разговаривал с публикой так, будто перед ним был не переполненный зал, а всего-навсего один человек, и притом близкий приятель. Неотразимость светловской манеры состояла именно в этой нерасчетливости, в предельной доверчивости к слушателю, в абсолютной безыскусственности, которая отвергала все законы эстрады, предпочитая им простоту дружеской беседы, улыбочивый экспромт, даже шутку в свой собственный адрес.

Я полагаю, ощущение театральности возникало еще и потому, что Уткин был красив, пожалуй, слишком красив для мужчины. Мягкие, классически правильные черты лица. Пышная шевелюра. При этом — белоснежная, широко распахнутая рубашка.

Когда Уткин, под шумные рукоплескания завершив «Мотэла», стал читать «Атаку» и зазвучало знакомое: «Красивые, во всем красивом, они несли свои тела», — я подумал: «Боже мой, неужели он не понимает, что в этих строчках есть изрядная доля иронии, направленной против него самого? Направленной не добровольно, как у Светлова, а потому, что подвело чутье».

Кстати, по прошествии многих лет Светлов сказал мне:

— Такое может показаться странным, но то обстоятельство, что Уткин был очень хорош собой, иногда мешало составить о нем правильное представление. Он сам жаловался в стихах: «Все моя поганая осанка!» Ну что далеко ходить за примерами! Когда я впервые увидел его, знаете, что произошло? Я засомневался: вряд ли тут дождешься стоящих стихов. Природа так щедро потратилась на внешнее оформление, что материала на талант могло уже не хватить. Но Миша Голодный возразил: «Между прочим, Байрон и Шелли тоже родились не уродами. Ты что же хочешь, чтобы все, как мы с тобой, были красивы только внутренне?» Миша, он был тихий, тихий, а в карман за словом не лез. И он оказался прав. Стоило мне услышать стихи Уткина, и все стало ясно: настоящий поэт!

В прекрасных воспоминаниях Сергея Бондарина о Багрицком есть любопытное свидетельство. Вот как говорил об Уткине Эдуард Георгиевич:

«— Напрасно Уткина хают. Воронский написал о нем: «Не поэт, а драгоценная ваза, идет и боится себя расплескать». А мне нравится эта черта в Уткине,— продолжал Эдуард с оттенком восхищения и даже легкой зависти.— Он держится, как Байрон. Как лорд. Это хорошо. Поэт должен быть таким...

— Хлебников ходил в мешке,— возразили ему однажды.

— О! Это вы знаете,— последовал ответ,— но не знаете, душенька, что в мешке он ходил не всегда. В свои студенческие годы он ходил не в мешке, а в сюр-

туке на шелковой подкладке. И писал при этом революционные стихи и предсказывал даты революции».

И все же, как я теперь отчетливо понимаю, мое восприятие давнего уткинского вечера затруднялось именно тем, что Светлов назвал «внешним оформлением».

Впрочем, зал был тогда завоеван поэтом почти безраздельно. Я говорю «почти», потому что вдруг произошло маленькое событие, ненадолго нарушившее атмосферу успеха.

Исполнив «Гитару», «Сергею Есенину», «Стихи красивой женщине» и многое другое, Уткин, задумчиво теребя шевелюру, обратился к публике: «Что бы вам еще прочитать очень хорошее?» И вот тут какой-то долговязый малый поднялся с места и запальчиво крикнул: «Если очень хорошее, то Пушкина!»

Наверное, это было грубо. В конце концов, с помощью Пушкина можно поставить на место кого угодно, даже самого распрекрасного поэта.

Скорее всего, парень подал голос без особого повода, просто из озорства. На литературном вечере, как на трибунах стадиона, всегда есть ниспровергатели авторитетов, любители пошуметь.

А может быть, его, как и меня, что-то необъяснимо настораживало?..

На дерзкого нарушителя зашикали. Но Уткин, в отличие от публики, не обиделся. Он поднял руку, останавливая шум, и как-то очень спокойно, даже с оттенком благодарности, произнес:

— Прекрасная идея, дорогой товарищ. Я с удовольствием исполню вашу просьбу.

Он как-то сразу сосредоточился. Куда девались его рисовка и самоуверенность? Едва прозвучали первые строки, я ощутил в его голосе то необоримое волнение, ту естественность, которых так не хватало до этого.

Я вас люблю: любовь еще, быть может,
В душе моей утасла не совсем...

О, как просто и в то же время с каким лирическим напряжением прочитал он Пушкина!

Совсем другой человек стоял на эстраде. Вот сейчас он был по-настоящему обаятелен, хотя от нервного подъема и усталости выглядел не таким красивым, как в начале вечера. И должно быть, не один я был поражен этой переменной.

Но еще более поразился я, когда Уткин пришел на другой день в редакцию местной газеты, чтобы встретиться с журналистами и начинающими литераторами.

Подумать только, какой успех выпал вчера на его долю! А он меньше всего походил на триумфатора. Он скорее был грустен и озабочен. Еще неожиданной оказались его доброжелательность и мягкость.

Слушать Уткина было интересно — русскую и мировую поэзию он знал широко.

Я не могу сейчас привести все подробности этой беседы, но одну ее часть я запомнил. Опять же, вероятно, потому, что она шла вразрез с моим начальным представлением о нем.

Говоря о трудностях работы поэта, Уткин сказал:

— Тем из вас, кто пробует свои силы в поэзии, я же-

лаю успеха. Но хочу предупредить вот о чем. Успех, достигнутый в юности, конечно, большое счастье. Но ранний взлет может обернуться поздними срывами. Я написал «Мотэлле» совсем молодым. Все хвалили, даже классики: Алексей Максимович, Владимир Владимирович, Анатолий Васильевич... Хорошо, да? Но вот с тех пор, что бы я ни писал, меня попрекают первой удачей. Работашь, волнуешься, дымишься, выдаешь на-гора вещь. Нет, говорят, «Мотэлле» был лучше. Слушайте, уверяют со всех сторон, второго «Мотэлле» вам не написать. Но я и не собираюсь повторять себя молодого. Я ищу. А искать трудно. Ох, как трудно...

Видимо, это изрядно мучило его, потому что впоследствии, когда мы узнали друг друга поближе, Уткин не раз возвращался к разговору о том, как трудно поэту преодолеть им же самим воздвигнутую вершину.

Известно, что где-то в конце двадцатых — начале тридцатых годов критика отметила досадный спад в работе Уткина. Ему пришлось услышать немало упреков. Не все они справедливы. Но дыма без огня не бывает.

Среди рабочих записей Светлова, опубликованных недавно, есть такая: «Куда легче писать для населения, чем для поколения».

Возможно, в те годы с Уткиным приключилась именно такая беда — он иногда предпочитал более легкий путь, писал не для поколения, а для населения. Что это значит? Вместо чувства — чувствительность. Вместо красоты — красивость. Вместо любви — чуточку самолюбования. Чуточку... А терялось главное — мера вкуса. Та мера, которая позволила ему в ранних вещах

говорить о возвышенном просто, о простом возвышенно.

Почему такое случилось? Стремился упрочить успех и пошел на уступки? Не хотел повторять найденное, но искал не в том направлении? Наверное, было и то и другое. Речь шла, собственно, о немногих стихах. Но на судьбе Уткина эти одиночные неудачи сказались так сильно, что едва не зачеркнули его раннее творчество.

Время было строгое. Лирику вообще не слишком жаловали, а ярлыки навешивали запросто. Журнал «На литературном посту» даже объявил Уткина певцом мелкой буржуазии.

А читатель по-прежнему любил поэта. Книги его расхватывались, вечера проходили с блеском.

Вот почему на эстраде он выглядел победителем. А в общении с друзьями, за рабочим столом, в редакционной комнате часто выглядел неуверенным и печальным.

Счастье его было в том, что даже в горькие минуты он продолжал работать.

Перед войной Уткину хорошо писалось. Он опять нашел себя, обрел свой голос, вернулись к нему и чувство меры, и вкус, и естественность, и предельная искренность выражения.

В написанном тогда было столько юношеской звонкости, певучести и чистоты, что сразу вспомнилась счастливая начальная пора его работы.

Но подъем этот начался гораздо раньше, когда, пройдя полосу мучительных поисков, Уткин вдруг подарил читателю несколько первоклассных вещей.

Сейчас эти стихи уже стали хрестоматийными.

Стихотворение «Батя», на которое сразу же по прочтении откликнулся Асеев, назвав его «замечательным», говорящим о гражданской войне больше, «чем целые тома беллетристики о ней». «Народная песня», «У тюрьмы за Ушаковкой», «Братская могила». Потом «Тройка» — о ней Сельвинский впоследствии писал: «Удаль и какая-то залиvistая сила, уносящая душу, как ветер облако, обогатилась в этой песне чертами, присущими советскому стиху».

И конечно же «Комсомольская песня» («Мальчишку шлепнули в Иркутске...»), которая позднее, в дни больших испытаний, помогала людям вести себя, «как подобает молодым».

Почему я так подробно вспоминаю о давних победах и поражениях Уткина? О неудачах и трудностях, долгое время преследовавших поэта?

Потому, что в преодолении их Уткин проявил настоящее мужество. Мужество, заложенное в нем с тех ранних лет, когда он — иркутский Гаврош — в составе рабочей дружины участвовал в свержении Колчака.

Мужество, которое пригодилось ему, когда началась Великая Отечественная.

НА БРЯНСКОМ

Он позвонил мне в первых числах августа.

— Прием заказов прекращен. Отбываю.

И он уехал на новый, на Брянский фронт, в редакцию газеты «На разгром врага».

Я листаю сейчас подшивку этой газеты.

Первый номер ее (для соблюдения военной тайны он обозначен как 191-й) вышел 18 августа 1941 года. Редакция тогда располагалась в Брянских лесах, в шалашах и землянках.

Вот эти номера, подготовленные, сверстанные и отпечатанные в предосенней тревожной чаще. На пожелтевших страницах — сводки Совинформбюро, передовые, статьи, анализирующие боевой опыт, очерки, фельетоны, стихи, заметки, фотографии героев, лозунги, карикатуры — все, чему положено быть в такой газете.

И почти в каждом номере подпись: «Иосиф Уткин».

Он сразу взял высокий темп работы, сразу поехал в части.

Уже 21 августа опубликовано его первое фронтовое стихотворение «Бабы», написанное по одному из эпизодов сводки Совинформбюро.

22 августа — большая корреспонденция «Фашистские молодчики в плену». Здесь набросан психологически точный портрет фашистского аса Иоганна Фельдшюра, предпочевшего сдачу в плен гибели.

26 августа — стихотворение «Старик» — о подвиге путевого обходчика-партизана.

Несколько дней спустя в специальном выпуске газеты Уткин выступает трижды в разных жанрах. На первой странице — передовая в стихах. На средних полосах — несколько лозунговых четверостиший и восьмистиший. Наконец, на последней странице, в отделе «Осиновый кол», — сатирическое стихотворение.

Должно быть, в эти дни Уткин вспоминал не только школу «Комсомолки», но и давнюю пору, когда, девятнадцатилетним репортером работая в иркутской газете «Власть труда», он печатал там стихи, фельетоны, частушки под забавным псевдонимом «Утя».

Последнее его выступление в газете «На разгром врага», если говорить о сорок первом, датировано началом сентября.

...Он приехал в расположение батальона вместе с работником политуправления фронта полковым комиссаром Шлихтером. Положение на этом участке было критическое. Батальон потеснили. Бойцов готовили к новой контратаке.

Уткин мог вернуться в штаб дивизии. На этом даже настаивали в батальоне: стоит ли подвергать опасности известного поэта, которого начальство приказало беречь? Но Уткин, только что беседовавший с солдатами, читавший им стихи, отказался наотрез. Как может офицер, минуту назад произнесший вдохновенные слова, уклониться от подоспевшего дела, причем опасного? Какая тогда цена словам? И он остался.

Рассказывали по-разному. Одни говорили, что немецкая мина разорвалась рядом с поэтом еще до начала контратаки. Другие утверждали, что он шел в атакующей цепи, подняв руку с зажатым в ней пистолетом. И осколок попал в эту руку.

Как бы там ни было, он шагнул навстречу огню, сочтя для себя невозможным поступить иначе.

Кто не знает уткинское стихотворение «Гитара» — одно из самых знаменитых и самых многострадальных? Были в нем красоты, что уж и говорить, — «серебряная коса волнующихся струн», «женская фигура гитары дорогой», «под изумрудным небом томится эскадрон...».

Но ругали Уткина, в общем, не за это. Украшатель-

ством грешили и некоторые другие его стихи, а судьба их миловала.

Эскадрон, который в светловской «Гренаде» играл «смычками страданий на скрипках времен», в уткинском стихотворении взял на вооружение гитару. И перебирал ее струны не кто-нибудь — она звенела в руках комиссара.

Но стань я самым старым,—
Взглянув через плечо,
Военную гитару
Я вспомню горячо.

Гитару, которая в ту пору числилась где-то между геранью и канарейками — приметой обывательского прозябания, гитару, неотделимую от чеховского телеграфиста, хмельного гусара, жалкого пошляка, эту изруганную гитару Уткин попытался выбить из лап мещанина и передать в хорошие руки, перевести из романса в романтику, из кабацкого напева в героическую балладу. К стихотворению можно относиться по-разному, но замысел был именно таков.

Однако это доброе намерение понято не было. И Уткину здорово досталось.

И все же поэт оказался в известном смысле прозорливым. Теперь вызвать раздражение гитара может лишь у неисправимых пуритан.

Еще одна строфа в этом стихотворении обернулась предсказанием: «Мне за былую муку покой теперь хорош. Простреленную руку сильнее бережешь».

...В госпитале он продолжал работать. Писал стихи. Среди продиктованного им есть такие строки:

И опять шинель — как лодка.
Я плыву куда-то... это

Сестры грустные в пилотках
На руках несут поэта!

И от слез теплее глазу.
И тоска меня минует:
Сколько рук прекрасных — сразу —
За одну найти, больную!

Теперь написанное буквально совпало с жизнью.

Случилось так, что моя мечта попасть на фронт исполнилась в связи с этим печальным обстоятельством: когда Уткин был ранен, меня направили вместо него в редакцию газеты «На разгром врага».

Может быть, Иосиф Павлович успел замолвить за меня словечко, как обещал еще летом, может быть, судьба вознаградила меня за долгие ходатайства, но прибывший в командировку работник этой редакции капитан Борис Новицкий, ставший потом моим другом, в течение суток оформил в горвоенкомате все дело. И я из штатского белобилетника превратился в человека, обладающего мобилизационным предписанием.

Дни были грозные — середина октября, и военкоматские врачи не очень придирались.

На Брянском фронте я и встретился снова с Уткиным, когда он летом сорок второго прибыл туда. В редакции обрадовались ему, как старому однополчанину. И он очень был этим тронут.

Выйдя из госпиталя после ампутации четырех пальцев правой руки, Уткин некоторое время долечивался, а потом сразу же стал добиваться нового назначения на фронт. И добился. Его назначили корреспондентом Совинформбюро и «Правды».

Я не видел его ровно год. Уткин очень изменился. Похудел. Но в то же время лицо несколько отяжелело, под глазами появились мешки. Однако он по-прежнему был красив, копна волос оставалась такой же буйной, как в молодости.

Военная форма хорошо сидела на нем. Три шпалы в петлице. Правая рука на перевязи защитного цвета. И на гимнастерке орден, только что врученный Уткину.

И опять вспомнилось: «Простреленную руку сильнее бережешь...» А ведь правда, мог бы побережь ее. Воевал, ранен, инвалид. Никто бы слова не сказал.

Совсем недавно я прочитал строки из его письма к В. Ставскому: «Я категорически отмечаю разговор насчет невозможности, по соображениям физического порядка, моего пребывания на фронте. Я хочу. Я могу».

Могут сказать: должность корреспондента центральной газеты не самая опасная на войне. Возможно. Хотя немало погибло журналистов, представлявших «Правду», «Известия», «Красную звезду»... И время было тоже не из лучших — июль и август сорок второго. А Уткин не отсиживался в штабе или в редакции, выезжал в части, не требуя скидок на увечье. Мчался в машине вдоль полусожженных тульских и орловских деревень, по равнинным дорогам, попадая, как водится, и под бомбежку, и в зону артиллерийского обстрела.

Возвращаясь из поездок, он жил в отведенной ему палатке под Ефремовом, на территории штаба фронта. Раздобыл где-то канделябры старинные и свечи, — штабной движок, дававший свет, иногда барахлил, да

и подвести линию ко всем палаткам было сложно. Уткин сидел на табурете, шинель внакидку, стуча на машинке пальцами левой руки. Ему это легче было, чем писать.

Однажды я застал его откинувшимся на койку. Он был бледен, поглаживал здоровой ладонью изувеченную кисть в глухой кожаной перчатке.

— Что, Иосиф Павлович, сильно беспокоит?

— Когда-то я читал,— тихо сказал он,— что у инвалидов иногда болят руки и ноги, которых уже нет. Вы понимаете, не культя ноет, а та часть, которая давно отнята. Я не верил. И вот убедился. Иногда болит один из несуществующих пальцев. Иногда все... А порой ощущаешь кончик безымянного.

Я невольно посмотрел на здоровую его руку, на чуткую, хорошо вылепленную кисть с проступающими жилками, чуть покрытую темными веснушками, на длинные музыкальные пальцы...

Мы виделись не слишком часто. Разъезжались на разные фланги.

Немцы рвались к Волге, наш Брянский вел бои на нескольких трудных, хотя и не очень громких участках, пытаясь нанести врагу наибольший урон. Было не до встреч.

Но Уткин все время давал о себе знать. Его работа была на виду. В московских газетах появлялись его стихи и корреспонденции. Он писал о героях боев, о брянских партизанах, о нелегкой фронтовой повседневности.

Именно в те дни была напечатана в «Правде» его «Клятва», прозвучавшая сильно и широко: «Клянусь: назад ни шагу! Скорее мертвый сам на эту землю лягу, чем эту землю сдать!»

...Вскоре после своего приезда на наш фронт, может быть даже на второй день, Уткин отвел меня в сторонку и сказал:

— Хочу поделиться с вами. Взволновала меня одна история. Касается она и вас. Я пошел в первый же день вместе с другими корреспондентами обедать в столовую Военного совета. Пропуск туда я еще не успел получить. Пожилой боец, дежуривший в тот день у входа, отказался меня пропустить. Мои коллеги сказали ему: «Это известный поэт Иосиф Уткин». Впечатления не произвело. Кто-то еще раз назвал мое имя. Дежурный вдруг ответил: «Что-то не читал я такого поэта». Коллеги мои тут же стали подшучивать надо мной: «Мы думали, что ты популярный человек. А тебя, оказывается, не читают». Кто-то задал вопрос бойцу: «А знаете ли вы других поэтов?» Тот даже обиделся. «Отчего же не знаю? Многих знаю». — «Ну назовите хоть двух-трех». И он назвал: Пушкина и Шевченко. Потом Некрасова и Демьяна Бедного. И наконец, знаете кого? — Здесь Уткин сделал паузу и торжественно произнес: — Вас он назвал, Яша, вашу фамилию. Да-да, вашу! Он же читает «На разгром врага» и привык ежедневно видеть вашу подпись под стихами. Поздравляю!

Я смутился, ничего не смог сказать, а Уткин продолжал:

— Послушайте, милый мой. Я вообще люблю общаться людям приятное. И признаюсь, я не столько огорчился за себя, сколько порадовался за вас. Запомните то, что я вам сейчас скажу. По-всякому может сложиться ваша литературная судьба. Дай бог, чтоб сложилась хорошо. Но по себе знаю: могут быть и неудачи и несправедливое отношение к вам. Даже в том

случае, когда все благополучно, может случиться дурное настроение. Так вот, в скверную минуту всегда думайте об этом красноармейце, который на фронте назвал ваше имя в ряду известных ему поэтов. И вы сразу повеселеете. В конце концов, мы пишем не для окололитературных мальчиков и девочек, которые бегают на наши вечера, когда мы в полной силе, и забывают нас при первой же нашей неудаче. Работать надо для таких, как этот боец.

Он помолчал, улыбнулся и добавил:

— Что же касается меня... Вы знаете, славы мне хватает. И все же досадно, что дежурный не слышал моего имени. И я хочу обязательно дать вам стихи. Хочу, чтобы газета «На разгром врага» их напечатала. Пусть этот хороший человек, до которого центральная пресса вряд ли доходит, почитает меня во фронтовой и удостоверится, что есть на свете такой поэт — Иосиф Уткин.

Через несколько дней он отправился в 13-ю армию. Мне надо было правее, но до Ельца нам было по пути. И Уткин предложил подбросить меня. Оттуда мне уже нетрудно было добраться до места на попутных.

Мы выехали на рассвете из Ефремова, безглазые улицы которого заросли бурьяном и кипреем. Обгоняя обозы, покатали по знакомой изъезженной дороге.

Кирпичные крестьянские дома, прежде крытые соломой, стояли без крыш, стены зияли проломами, кирпичи почернели. Ветер вздымал красноватую пыль, сухие, обожженные стебли...

Мы ехали молча. Уткин был мрачен, может быть,

опять ныла изувеченная рука, может быть, горестный пейзаж повлиял на него. Сколько ни видишь на войне пожарищ, привыкнуть к этому нельзя.

Я был предупрежден, что мы ненадолго заедем на ближайшую автобазу — раздобыть какую-то запасную часть. Мы свернули с шоссе. После короткого разговора с автомобильным начальством Уткин появился в сопровождении чернявого сержанта, который весь так и светился.

— Вот мой водитель, — сказал Уткин сержанту, — он пройдет с вами на склад.

— Слушаюсь! — радостно отозвался тот и добавил: — Разрешите сказать вам, вот уж не ожидал я, что встречу живого Уткина! Очень это удачно, что вы к нам заехали. Я же вас много читал и фотографии видел! Разрешите идти?

Уже уходя с уткинским шофером, сержант бросил еще один восторженный взгляд, козырнул и прокричал:

— Все будет сделано! Пишите побольше и будьте здоровы!

— Спасибо! Постараюсь, — ответил Уткин.

Восхищение сержанта доставило ему удовольствие, и он не скрывал этого. Он как бы взял реванш за случившееся у входа в штабную столовую.

— Вот видите, — сказал я.

— А все-таки буду печататься у вас во фронтовой... Для того солдата, который меня не знает. И вообще я ведь старый «наразгромовец».

...Он действительно через некоторое время прислал стихотворение «Товарищу бойцу», и оно было опубликовано в нашей газете 21 августа 1942 года.

На фронте Уткин был в хорошей поэтической форме, много и успешно работал. Но иногда вспоминались ему старые огорчения, обиды, несправедливость критики.

— Рана физическая, даже серьезная, а я теперь отлично представляю, что это такое,— сказал он однажды,— если она не смертельна, все же не так потрясает человека, как душевная травма. Какой-нибудь самоуверенный демагог может поразить вас неизлечимо. Знаете, что самое ужасное? Это когда критик считает, что он и есть пролетариат, что именно его устами глаголет класс. Читаешь такого и думаешь: кто его уполномочил? И если он — народ, то кто же критикуемые? Вспоминаешь Маяковского: «А я, по-вашему, что — валютчик?»

В другой раз Уткин спросил:

— Вы думаете, самое трудное бороться с проработчиками?— И тут же сам ответил:— Нет! Вы, конечно, знаете стихи Пастернака о художнике: «Но кто ж он? На какой арене стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». Замечательно! Вот он, самый трудный экзамен! С самим собой... Без этой внутренней схватки ничего не получится. Будешь топтаться на месте. Чтобы избежать повторения, надо в чем-то опровергнуть не кого-нибудь, а себя. Даже невзлюбить сделанное тобой раньше. Вот когда поэт «прячется от взоров и собственных стыдится книг».

Как-то попался нам на глаза старый номер «Огонька» со стихами Пастернака, написанными в первые недели войны: «Все переменится вокруг. Отстроится

столица. Детей разбуженных испуг вовеки не простится».

Уткин задумался, а потом сказал:

— Наверное, эти строки пришли к нему после одного из дежурств на крыше. Кстати, в те летние ночи мы о многом беседовали. Очень сердечно. И вдруг Борис Леонидович вспомнил, что в давние времена мы с ним перекликнулись в стихах. У этого человека абсолютный слух. И если написанное тобой вызвало в нем поэтический отзвук — это немало.

Я сразу понял, о чем идет речь.

В одном из ранних стихотворений Уткина «Свидание» есть строки:

Мне ветер
Приятельски машет,
И, путаясь и пыля,
Как зелием полные чаши,
Шипят
И кипят
Тополя.

Четыре года спустя, зимой тридцатого, в «Красной нови» появилась пастернаковская «Баллада», написанная летом под Киевом, в Ирпене, знакомом мне с детства:

...Льет дождь, он хлынул с час назад,
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.
Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.

...Сейчас, услышав рассказ Уткина о прошлогодней ночной беседе с Пастернаком, я в ответ прочитал вслух и те и другие строки.

Иосиф Павлович благодарно улыбнулся:

— Все-таки помните! Так вот... «ваши тополя кипят»... Он не то чтобы адресовал эти строки непосредственно мне. Скорее, он обращался ко всем окружающим, к молодежи, к своим сыновьям, как бы отстаивая свою принадлежность к сегодняшнему миру, к будущему, подчеркивая — «я на учете». В то же время — и он сам это подтвердил в нашем разговоре — имелась в виду совершенно определенная строка, написанная одним из тогдашних молодых людей, то есть мной. Очевидно, обнаружилась какая-то неуловимая связь между этой строкой и его настроением, когда он писал «Балладу». Значит, поэты, казалось бы совершенно несхожие, при счастливом совпадении чувств могут в какой-то момент сблизиться. Как две разные планеты. Я бы назвал это минутой душевного противостояния.

Зашла у нас речь о комсомольской поэзии. Уткин горячо говорил о своих сверстниках. Все они в ту пору тоже были в действующих частях. Я сказал, что весной Безыменский некоторое время находился на нашем участке, на левом фланге. 40-я армия, где он служил, недолго входила в состав Брянского фронта. Вспомнил я и свою краткую поездку в Москву, когда на «четверге» в редакции «Комсомолки» слушал Светлова — он читал стихи о Лизе Чайкиной. Теперь Михаил Аркадьевич на Северо-Западном в газете, которая тоже называется «На разгром врага».

— А Жаров стал морским волком, воюет на флоте, — улыбнулся Уткин. Потом помрачнел: — Джека жаль... Нет больше Джека, погиб еще в мае под Харьковом.

И он стал мне рассказывать об Алтаузене, с которым я не был знаком...

— Вообще должность комсомольского поэта очень трудна, — заметил Иосиф Павлович. — Во-первых, надо обладать яркой индивидуальностью; во-вторых, надо быть неслыханно искренним — безликость и фальшь молодежь немедленно раскусит; в-третьих, комсомольский поэт не имеет права быть скучным. Аудитории должно быть с ним интересно и даже, черт возьми, весело! Лучше уж ему разок ошибиться, чем занудливо излагать прописи. Наконец, он обязан стать для читателя абсолютно своим человеком. Он должен быть необходим не только на субботнике, но и в час свидания с любимой, потому что в такой час хочется говорить стихами. Поэт единственный, кто в этом случае не бывает третьим лишним...

Эти его слова я записал. И когда много лет спустя прочитал посмертно опубликованные в «Литературной России» уткинские «Заметки на полях рукописей», меня особенно привлекла одна из них:

«Быть народным — это не только служить народу, но и стать интересным народу».

Собственно говоря, здесь более лаконично изложено то, что было сказано в адрес комсомольских поэтов и относится, конечно, к любому художнику.

Уткин имел право так сказать. Он был интересен читателю. К нему тянулись даже в пору его неудач и трудных поисков. Этого у него не отнимешь.

Возник во время совместной поездки в Елец разговор о Маяковском. О Владимире Владимировиче Уткин говорил с необыкновенной сердечностью:

— Вот кто был почти всегда непобедим и при любых обстоятельствах абсолютно благороден! И везде оставался самим собой. На трибуне, в пылу спора, за бильярдным столом, в гостях. Между прочим, он был очень внимателен ко мне. И я, знаете ли, основательно учился у него. Нет, не форме стиха. Был такой у меня период, когда я стал писать стихотворную публицистику, располагая строки лесенкой. Никогда я не был дальше от Маяковского, чем тогда. А вот Горький, прочитав первый вариант «Милого детства», сказал мне, что вещь написана под влиянием Маяковского. И старик был прав. Работая над этой вещью, я многое брал у Владимира Владимировича. Вообще-то я следовал не его рифмам, не ритму, даже не интонации, а его отношению к жизни, к революции. Не говорю уже о том, как много мне дало общение с ним. Кстати сказать, очень дружеское общение. Я столько ему обязан! К сожалению, больше помнят его эпиграмму на меня...

Однажды, возвращаясь из части, я проезжал КП фронта. Встретил Уткина. Он обрадовался, затащил меня в свою палатку, усадил на койку и стал читать стихи. Читал стоя, хотя для этого ему приходилось нагибать голову — свод палатки касался его шевелюры. Здоровой рукой он подчеркивал ритм, ворот гимнастерки был расстегнут, читал он негромко, но так, словно перед ним был не я один, а большая аудитория.

«Ви стояль на карауле?»

— «Нет».

«Ви пустиль в зольдата пуля?»

— «Нет».

«Ви живете у базара?»

— «Нет».

«Ваш фамилия Назаров?»

— «Нет».

...Три расколотых ореха.

Ночь. Но выстрелам в ответ

Трижды отвечает эхо:

«Нет!

Нет!

Нет!»

По своей выразительности и лаконизму эти строки не уступали знаменитому стихотворению «Мальчишку шлепнули в Иркутске...». Уткин читал, как я уже сказал, негромко, но стихи напоминали в его исполнении сжатую пружину, которая, стремительно развернувшись, звенит завершающей трехступенчатой строкой. И казалось, что далеко окрест разносится эхо.

Военная лирика принадлежит к лучшим страницам Уткина. Новый взлет его таланта продолжался в дни войны, и только авиационная катастрофа, в которой поэт погиб, оборвала этот стремительный набор высоты. Но случилось это два года спустя, когда он возвращался в Москву с другого фронта, из других краев...

ПЕСНЯ, МУЖЕСТВО И РУКИ

Перед самой войной Уткин составил и отредактировал двухтомник Багрицкого. В него вошло все или почти все написанное Багрицким. В свет успел выйти только первый том. Я прочитал его с жадностью и...

огорчился. Среди множества стихов, написанных в разное время и на разном уровне, растворилось то, что было дорого и знакомо с детства.

Сам Багрицкий был чрезвычайно скуп в отборе своих вещей для книг. Семнадцать стихотворений и «Дума про Опанаса» в «Юго-Западе». Девять названий в «Победителях». И три небольшие поэмы в книге «Последняя ночь». «Избранное», составленное им при жизни, включало кроме перечисленного еще несколько произведений. Все. А тут огромный пухлый том...

Встретив Уткина в Доме Герцена, я прямо сказал ему об этом. Не лучше ли было отобрать строже? Уткин задумался.

— Понимаете, какая штука, Яша. Вообще-то вы правы. Будь Эдуард жив, он воспротивился бы этому решительнейшим образом. Но теперь для нас дорого все, что вышло из-под его пера. В конце концов, надо показать читателю, каким тружеником был Багрицкий, из скольких тонн руды добывал он свои граммы радия...— Помолчав, он добавил:— А вы знаете... Я бы не хотел, чтобы после моей смерти собрали все, чем я грешил... Если к старости я почувствую, что конец близок, я сам уничтожу многое.

И вот я держу в руках объемистый том — один из недавних выпусков «Библиотеки поэта», в котором собрано, прокомментировано, подытожено сделанное Иосифом Уткиным. Два десятилетия его работы — от первых строк, наполненных отблесками гражданской войны, до последних, написанных на исходе Великой Отечественной, — запечатлены в этом издании.

Я вспоминаю наш давний разговор о Багрицком. Будь Уткин жив, он, возможно, многое не включил бы в эту книгу. Но издание, увы, посмертное. И опять

это двойное чувство. Да, книга могла бы быть тоньше. Но ведь его уже нет. И теперь нам дорого все, что принадлежит его перу. Двести двадцать пять стихотворений и четыре поэмы. Синий академический строгий переплет, как принято в так называемой «большой серии», знакомой каждому любителю поэзии. Значит, в моих руках — классика. Книга-памятник.

Нелегко передать чувство, которое испытываешь, когда, листая такую книгу, вспоминаешь, как ты запросто общался с автором, слушал его стихи, сидел с ним рядом в тряском «виллисе», как он рассказывал забавный случай из жизни или жаловался на несправедливость критики. Издание итоговое. Но сам поэт, здравствующий, не подытоженный, до сих пор ведет от имени своего поколения взволнованный разговор с теми, кто молод сегодня. Попробуйте найти на прилавках вот хотя бы эту его книгу.

Напрасный труд — она давным-давно разошлась.

Нам остается открыть уткинский том на девяносто пятой странице. Поэт снова обращается к нам:

Пусть волна
Поднимет лапу,
Пусть волна
По веслам стукнет —
Не смеяться и не плакать,—
Песню!
Мужество!
И руки!..

С нами его песня. С нами его мужество. Его руки — та, которая ранена в бою, и та, которой он потом научился работать, — продолжают излучать дружеское тепло.



„Как подобает молодым...“

Подполковник, работник политотдела дивизии, рассказал мне о том, как был ранен Уткин.

— До войны я служил далеко от Москвы,— сказал он,— мне никогда не приходилось встречаться с поэтами. Мне казалось, когда я читал книги стихов, что поэты много придумывают и далеки от жизни. Поэты писали о войне, о героизме, а я думал: писать-то легко, а вот попал бы ты в настоящую переделку, как бы ты себя вел тогда? В начале войны я был послан на фронт, под Брянск. Положение там было тяжелое. К нам в дивизию приехал высокий, удивительно красивый офицер. Мне сообщили, что это поэт Иосиф Уткин. По правде сказать, я не знал, куда мне девать поэта. Но он сам определил свое место:

«Вы идете на передовую? Я с вами».

Это была прогулка не из приятных. Немцы наседали, наши отходили в упорных боях. На том участке, куда мы направились, приказано было во что бы то ни стало остановить врага. Мы пришли в батальон, который только что отступил и находился теперь на голом месте, без окопов и укрытий. Надо было поднять солдат в атаку и восстановить положение на участке. Шел

сильный обстрел, и я, по правде сказать, досадовал, что с нами лишний человек в эту тяжелую минуту. Но вскоре моя досада прошла. Уткин страстно и спокойно разговаривал с бойцами. Он говорил о небольшой задаче, поставленной перед батальоном, так, как будто от выполнения ее зависит судьба всей страны. Он был для всех новым человеком, только что прибывшим из Москвы. Он говорил о том, что в Москве дети дежурят на крышах и гасят зажигательные бомбы.

Я не знал, что Уткин — беспартийный, я считал его комиссаром, и бойцы видели в нем комиссара. Он поднялся в атаку вместе со всеми, около него разорвалось несколько мин. Он упал лицом вперед, раскинув руки. Я не успел крикнуть ему, что надо сжаться в комочек, занять как можно меньше места на обстреливаемой земле. Через минуту завывла вторая серия мин. Я увидел, что правая рука поэта вся в крови, подполз к нему. Он был еще и контужен, видимо не знал, как и куда он ранен, и сказал мне:

«Добейте меня, я вам мешаю здесь!»

Мы вынесли его с поля боя. Оказалось, что четыре пальца правой руки оторваны. Уткина отправили в Москву, а много позже я достал книжечку его давнишних стихов и нашел там строки, заставившие меня вновь вспомнить трагическую встречу с поэтом:

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

Вот рассказ свидетеля, рассказ о живом Уткине.
...Да, герои стихов Уткина были его учителями. И вел

он себя так же непреклонно, как воспетый им мальчишка из Иркутска.

Но Иосифу Уткину приходилось и спорить и воевать с лирическим героем своих стихов. В ранних стихах поэта есть мотив, который он потом отверг всей жизнью:

Счастлив я
И беззаботен!
Но и счастье
И покой
Я, ей-богу, заработал
Этой раненой рукой.

Это было написано в двадцатые годы, и это было позой. Когда Уткин лишился пальцев, он не думал о покое. По выздоровлении он снова рвался на фронт, ни за что не хотел признать себя инвалидом. Когда его решили демобилизовать, он сказал мне:

— Как не понимают в отделе кадров, что поэта демобилизовать невозможно? Я уже научился писать на машинке, я буду писать,— значит, я буду служить так же, как раньше!

До войны Уткин писал мало, после ранения он стал писать больше. В этих стихах стучало большое сердце и говорили высокие чувства.

Иосиф Уткин был человеком с трудной и сложной поэтической биографией. К нему очень рано пришла большая слава — сразу же после первых стихов и «Повести о рыжем Мотэле». За славой плелись и молва, и пародии, и карикатуры. Путь поэта не прямолинеен, и настала пора, когда слава отошла от Уткина, стала в тень. А молва, пародии и карикатуры вылезли на первый план. Его называли певцом мещанства, рисовали верхом на гитаре. Вероятно, какая-то доля истины была

в этой весьма распространенной вокруг имени Уткина форме критики. Но мне кажется, очень малая доля. У Иосифа Уткина было немало недостатков, но критики редко помогали ему разбираться в них. Я познакомился с Иосифом Уткиным как раз в эту пору, незадолго до войны. Он жил скромно и строго, писал стихи медленно и трудно. Многие теперь широко известные его стихи по месяцам, а то и по годам выдерживались им в письменном столе. Когда товарищи спрашивали его, почему он не печатает то или иное стихотворение, он отвечал: «Пусть лучше оно устареет у меня в столе, чем на столе у читателя. А если почувствую, что оно живет, напечатаю позже».

Его любимыми поэтами были Батюшков, Лермонтов и Маяковский. Надо особо сказать о влиянии Маяковского на Уткина. Не только отдельные стихи, но и некоторые книги Уткина (например, книга «Стихи о войне», изданная в 1933 году) написаны под явным влиянием стихов Маяковского. Это не ученичество, это учеба мастера. Я говорю не о ступенчатой строке, но об ораторской интонации, политической устремленности. Уткин, которого многие критики упрекали в зазнайстве и болезненном самомнении, в среде товарищей всегда говорил о себе, как об ученике Маяковского, с благоговением вспоминал о своем учителе.

— На бильярде я иногда брал верх над Маяковским, а в поэзии — никогда. Но Маяковский следил за моими стихами и помнил наизусть несколько моих строк, — рассказывал он мне в одну из наших, ставших традицией, прогулок по Москве.

В свободное время мы подолгу ходили по улицам и бульварам. Иногда Уткин останавливался — особенно часто это бывало весной — и говорил:

— Послушайте, как хорошо звучит город! Как хорошо сейчас дышится...

С ним нельзя было разговаривать о пустяках, он не терпел пошлости и грубости. Он любил говорить о поэзии, читать стихи, которых он знал наизусть великое множество. Если он спорил, то всегда с почти фанатическим энтузиазмом отстаивал свою точку зрения.

Как он не соответствовал тому мнению, которое упорно навязывали читателю некоторые критики! Последняя статья о себе, которую ему довелось прочесть, принадлежала Н. Калинину. Критик мало интересовался стихами. Ему не понравилась фотография поэта, предпосланная последней книге Уткина. Критик усмотрел кокетство в том, что поэт снялся в военной форме во весь рост. Но военная форма Уткина была в единстве с содержанием его стихов последних лет.

Стихи Иосифа Уткина, написанные в годы Отечественной войны, пожалуй, самые сильные в его поэтическом наследстве.

Огонь орудийного гнева
Гудит у России в груди.

Написал он эти строки в сорок третьем году в белорусских лесах, в кавалерийском корпусе, где провел целый месяц,— потом о нем рассказывали долго, и последний раз я слышал от кавалеристов эти строки его стихов уже в мирное время, на реке Эльбе.

Чудесный образ санитарки, склонившейся над раненым, традиционный и в то же время новый образ русской женщины, нежнейшие строки о родине:

Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы!—

все это с болью перечитываем мы в его последней прижизненной книге «О родине. О дружбе. О любви».

Уткин не любил рассказывать о своих планах, он предпочитал написанные стихи обещаниям. Но в нашу последнюю встречу — за несколько месяцев до авиационной катастрофы, оборвавшей его жизнь, — он говорил мне:

— Буду писать сейчас и стихи и прозу. Я раньше не пробовал писать прозой, но теперь написал несколько статей в «Правде» и почувствовал силу прозы. Надо будет еще написать поэму о саперах, которым на войне достался самый трудный хлеб. И поэму о девушках — участницах войны...

Этим планам не суждено было сбыться, но и те стихи, которые успел написать Иосиф Уткин за свою жизнь, останутся в советской поэзии, в нашей жизни.

Иосиф Уткин немало сделал и дал нашей поэзии. Он не дожил до победы, но победа жила и осталась жить в его стихах, потому что это был поэт искренний, пламенный, безраздельно любивший свою советскую родину.

Мне трудно говорить о нем, особенно прозой. Но и трудно написались стихи памяти Уткина, которыми я хочу закончить свои воспоминания о нем:

Возвращался он из-за границы.
Плыл туман по осенней листве.
Это ж надо — упасть и разбиться,
Подлетев к затемненной Москве.

Я приехал в прохладную полночь,
Чтоб его опознать. И была
Ни к чему эта «Скорая помощь»
Возле рваных обломков крыла.

В алом месиве летных аварий
Ничего невозможно узнать.
Я сказал: это он, мой товарищ,
У него есть ослепшая мать.

Пусть она никогда не узнает,
Что так рано погиб ее сын.
За границей он где-то летает,
Он с друзьями, он там не один.

И сидел я, растерянный, с нею
В давнем сорок четвертом году.
Он на Кубе, я врал, он в Гвинее,
Лепетал я, скрывая беду.

Мать из жизни ушла, отгорела
С чистой верой, что сын ее жив,
И поверил я сам в это дело,
О кровавых обломках забыв.

Я летаю по утренним странам,
У гибели выиграв спор.
И взаправду — мне кажется странным,
Что не встретил его до сих пор.



В

оенной дорогой

После допроса немецкого обер-лейтенанта, где мы познакомились с полковником, начальником 7-го отдела нашего штаба, Иосиф Уткин, вызвав меня из шалаша, сказал:

— Я поручился за вас... и поэтому хочу знать все точно — вы не боитесь ехать? Помните, можно остаться дома. Дорога туда очень опасная, все время под бомбежкой. Никто из наших не ездил так далеко...

Кончался август сорок первого. На войне мы были всего третий день. В Москве Уткина я знал почти шапочно. Теперь же он брал меня под покровительство, хотя формально мы были равны и нам предстояло воевать плечом к плечу: он числился поэтом красноармейской газеты Брянского фронта «На разгром врага», я — ее писателем.

— Завтра полковник обещал нас взять с собой. Он хороший, храбрый человек... И будет очень обидно, если писатели окажутся недостойными его. Вы меня понимаете? В конце концов, вас куда не посылают... Знаете старое военное правило: не отказываться, если тебя посылают, — это стыдно, но и самому не лезть вперед... А я не могу. Да, не могу я так... По мне, это

правило недостаточно поэтично. Что я буду делать с людьми, которые не лезут вперед? Кроме того, между нами, я не уверен, что они выигрывают и в жизни и на войне...

Тропинка от 7-го отдела штаба к шалашам редакции была прорублена в толще Брянского леса, и нас сопровождал смолистый запах недавней лесосеки.

— Вот возьмите того немца, которого мы только что видели. Этот обер-лейтенант наверняка придерживался добропорядочного золотого правила. Не лез вперед, шел только по приказу. И вообще всю жизнь с целенок жил по приказу. Мать давала ему свою грудь, приказывала есть — и он тянул. Дальше школа, приказывали учиться — он зубрил. Потом армия, немецкая армия, где и так ясно, что все по приказу. Он выполнял приказ. И сейчас, когда мы вошли, он вскочил на ноги, козырнул и стоя говорил с нами, не запираясь отвечал на приказы нашего полковника, лишь только тот повысил голос. А когда я сказал, что хочу говорить с ним частно, и спросил, читал ли он Гёте, обер по-военному ответил: «Никак нет». — «Слыхали ли вы о таком?» — «Никак нет». — «Чего вы хотите?» — «Не могу знать». Я спрашиваю: «Каковы ваши желания?» — «В настоящее время никаких». И он не рисуется. Что можно рассказать о таком нашему бойцу? Только то, что вы совсем разные, дорогой, он враг, и поэтому бей его беспощадно. В мире могут быть либо ты, либо он. Вот мы дошли до редакции и до темы. Хотите написать? И редактор будет ею доволен. И приказ будет выполнен. Как видите, это не так трудно — выполнять приказы...

Рано утром в разведотдельской машине мы выехали в расположение 13-й армии, наиболее выдвинутой армии нашего фронта. В кабине шофера сидел полковник,

в кузове с нами — его автоматчик Ванечка. Парень это был городской, грамотный, по-видимому понимавший, что к чему. Не успели мы еще толком отъехать, как он заговорил:

— Когда меня сюда провожали, я сказал своим: «Прикажете плакать? Нет так нет! — И он ставил десять заплаток на один жилет». Это я, товарищи командиры, в книжке, в стихотворениях однажды прочитал, и дюже мне понравилось. В гражданке я портным был, как тот рыжий в той книжке...

— Ванечка, — улыбаясь, сказал Уткин, — а я эту книжку однажды написал... Знаете, Рахтанов, у меня есть большое богатство — частный капитал моего имени. Достался он мне еще в молодости, и тогда, пожалуй, незаслуженно...

Ванечка теперь во все глаза смотрел на Уткина. Видимо, он давеча придумал фразу со строчками из «Повести о рыжем Мотале» (которую, впрочем, действительно читал и помнил), чтобы проверить, тот ли это поэт Уткин, и сейчас, когда удостоверился, стал откровенно всем своим видом выдавать себя.

Дорога была забита бесконечными возками беженцев, что волочились навстречу нам, на восток.

— Вот смотрите, — сказал Уткин, начиная под взглядом Ванечки философствовать, — вся жизнь этих людей уместилась на одном возке. Здесь и бабушка, и внуки, и домашний скarb. И все это движется, уходит от неминуемой смерти. Куда? Каков их путь? Где останутся они свои натруженные ноги? Знают ли они это? Верят ли в остановку? Думаю, что верят. Без веры нельзя идти так спокойно. И если я когда-нибудь напишу о них, именно это отсутствие слез в их глазах я отмечу...

— Напишите, товарищ комиссар,— попросил Ванечка,— вот как сейчас говорите, так и напишите. На то вы этому делу и обучены...

— Так нельзя,— сказал Уткин несвойственным ему серьезным голосом,— должно пройти время, чтобы эта длинная дорога подошла к моей голове, чтобы она прошла сквозь сердце, а когда это случится — стихи будут. Понятно?..

Впоследствии он действительно написал стихотворение «Беженцы», не лучшее, на мой взгляд. Но статья в «Комсомольской правде», мне кажется, неверно критиковала их за неточность. Критик не разглядел, что здесь передано сопротивление народа. Вот эти стихи:

Вся жизнь на маленьком возке!
Плетутся медленные дроги
По нескончаемой тоске
В закат уткнувшейся дороги.

Воловий стон и плач колес.
Но не могу людей обидеть:
Я не заметил горьких слез,
Мешающих дорогу видеть.

Нет, стиснув зубы, сжавши рот,
Назло и горю и обидам,
Они упрямо шли вперед
С таким невозмутимым видом,

Как будто, издали горя,
Еще невидимая многим,
Ждала их светлая заря,
А не закат в конце дороги...

Не знаю, прочел ли это Ванечка. Стихи были написаны, если не ошибаюсь, в Ташкенте, в эвакуации, и когда Уткин через год, вернувшись в Москву, прочел

мне их, большой кусок жизни встал перед моими глазами. Критик, помнится, усомнился в точности беженского маршрута: наши люди-де уходили не на запад — «закат», а на восток. Но в стихах нет слова «запад», есть «закат», именно закат.

Конечно, в те трудные дни светлая заря — победа — светила нашим людям в конце дороги, когда война придет к своему закату. А запад — понятие сугубо географическое, принадлежащее поверхностному взгляду критика, — можно оставить на его совести, должно быть склонной к передержкам.

Машина остановилась.

— Перекур, — сказал полковник, выходя из кабины.

Сегодня он выглядел иначе, чем вчера на допросе обер-лейтенанта. Тогда в его быстрых, фонетически безупречных немецких вопросах звучало трудно сдерживаемое раздражение. Видимо, ему, как и Уткину, был противен гитлеровский болван, приученный и привыкший только повиноваться. Сейчас полковник говорил по-русски, неожиданно окая.

— Хочу сняться на память с поэтом, — сказал он после завтрака.

Портрет Уткина, помещенный в последней его книге «О родине. О дружбе. О любви», был сделан полковником именно тогда. Уткин стоит во весь свой немалый рост, пилотка съехала набекрень, фляга, обшитая солдатским сукном, висит на боку. Еще целы обе руки, ранен он был через полторы недели.

— По коням! — скомандовал полковник.

И полутонна, снова объезжая встречные возки и подводы, запрыгала по бесконечной дороге.

Ванечка уже привык к присутствию того самого Уткина. И теперь спрашивал, сколько в гражданских редакциях платят за стихотворения, какая у поэта квартира, кого он оставил дома. А Уткин с большим терпением разъяснял, во что ему обходится строка и как непросто писать...

В придорожных селах нас угощали житняком и фруктами. Женщины подсаживались к Ванечке.

— Время не то, гражданки,— говорил он,— был я прежде портной, а теперь, если по-старому сказать, солдат. Не то это, не то... Как разобьем немца, каждую поцелую.

Слово «солдат» тогда в нашей армии было еще диковинным, и Ванечка употреблял его для наглядности.

— А разобьете? — спрашивали женщины.

— А то как же! С нами знаете кто едет — поэт!

И он улыбался. Ему было радостно сознавать, что вместе с ним воинскую долю делит поэт. Вот почему неправы те, кто считал, что держать в маленьких военных газетках больших писателей — все равно что прикуривать от гвардейских минометов. Присутствие Уткина давало Ванечке уверенность и силу, а это на войне совсем не мало.

Штаб армии легче всего обнаружить по красным проводам подвешенного телефона. Это — Рим, куда все они сходятся. И, пользуясь таким ориентиром, хорошо известным нашему полковнику, мы легко добрались до политотдела, где нас ласково принял бригадный комиссар Крайнов. Уткина Крайнов знал.

— Иосиф Павлович, я вашего мальчишку, того, что «шлепнули в Иркутске», наизусть помню. Как это здорово, что вы тут, с нами! Мы сейчас обед соорудим, пока полковник к своим фрицам сходит. Что в Москве?

За обедом Крайнов попросил Уткина почитать новые стихи. Без отговорок, не ломаясь, Уткин встал и прочел написанные перед самым отъездом из Москвы:

Я видел девочку убитую,
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою,—
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

Пришел полковник, вернувшийся из разведотдела, и подсел к столу.

— Для вас, Иосиф Павлович, тут есть любопытный экземпляр. Я принял решение захватить его с собой — настоящий стопроцентный «гитлерюгенд». Дорогой поговорите. Ванечка за ним присмотрит...

В конце обеда Уткин пожаловался, что у него до сих пор нет пистолета.

— Ну, этого добра у нас завались, мы люди богатые, — сказал Крайнов. — Я вам свой сейчас подарю, трофейный. Это «вальтер», последний образец. Видите — тысяча девятьсот сорок первого года. И первый трофей нашей армии. Вот!

Уткин взял револьвер, умелыми пальцами вытащил синюю, вороненую обойму, разрядил ее в пилотку, вставил на место, заглянул в ствол, поцелкал спуском.

— Хорош! Обещаю вам, товарищ бригаадный комис-

сар, повернуть его против врага,—несколько торжественно произнес он,—будет замечательно из немецкого пистолета бить немцев. Об этом можно стихи писать. Спасибо!

— По коням! — скомандовал полковник.

Я не поехал назад. Мне хотелось видеть войну поближе, а Уткин решил послушать допрос «гитлерюгенда» в Брянске.

— Как-никак молодой человек. Это по моей, по комсомольской части...

Мы расстались. Больше я его до Москвы не видал. Возвращаясь через две недели в редакцию, я услышал, что под минометным обстрелом, на другом участке фронта, в расположении другой нашей армии, Уткин был ранен в правую руку и уже отправлен на самолете в тыл. Он шел против немцев, положив палец на спусковой крючок подаренного ему Крайновым «вальтера», повернув на врага, как обещал, его же оружие.

Воспоминание об этом фронтовом эпизоде навело меня на размышления о характере Иосифа Павловича Уткина. Чтобы прекратить поток любовных записок, шедших от девушек из зала, ему приходилось, когда он сидел в президиуме, заслоняться графином с водой. Он говорил, что может подчинить себе любую студенческую аудиторию. И действительно, популярность его была необычайно высока: нравился его голос, манера, львиная грива, открытый ворот рубашки, лиричность песенного склада.

— Теперь, на войне,—сказал мне однажды Уткин,—поэту с солдатом надо говорить тихо, не повышая голоса. Подумайте только, на переднем крае все грохочет, все кричит, бухают пушки, скрежещут гусеницы танков, лязгает вся эта техника — и вдруг тихий

голос поэта, даже шепот, но о чем-то своем, о чем-то извечно близком. Вот чего я хочу и чего добиваюсь.

Пожалуй, как никто другой из поэтов, он всем своим ладом был подготовлен к войне и встретил ее в мобилизационной готовности, так, будто годы между гражданской и Отечественной действительно были для него лишь временной передышкой.

Его старые, «сибирские» стихи наполнились сегодняшним содержанием. Ему не нужно было омолаживать их, приспособлять, нет, они оказались в самую пору эпохе, свободно и точно ложась в отведенное им место на узкой полоске фронтовой, походной газеты. И новые стихи, созданные на фронте, в сторожке лесника, при свете трофейной немецкой карбидной лампы, естественно продолжали те, что зародились в большом, многоэтажном спокойном доме в Лаврушинском переулке.

Тема войны жила в нем глубоко, не выплескиваясь наружу в виде пристрастия к высоким сапогам, pistolетам и бурке, чем грешили зачастую его товарищи, на поверку в суতোлке и суматохе бомбежек оказавшиеся не такими уж храбрыми. В мирные дни он не был похож на них, не кичился своей воинственностью, но, оставшись наедине с собой, писал те стихи, которые без перехода вошли в новую военную жизнь.

Он был лично храбрым человеком, вернее, знал, как надо быть храбрым, и соответственно с этим поступал без бравады и аффектации, хотя и это не совсем верно, потому что некоторая бравада составляла не то чтобы сущность его характера, но какую-то линию поведения. Смолоду нарисовав себе некий, как казалось ему, идеальный образ поэта, он все свои поступ-

ки подчинил ему, старательно вгоняя их в этот образ.

Вот почему, в частности, он первым вызвался гасить на крыше фашистские зажигательные бомбы: там, на верхотуре, в эту минуту было опаснее всего, а его идеал повести себя иначе не мог. И Уткин честно, в положенные часы, приходил дежурить на вверенный ему «объект», по пути прихватывая своих подчиненных, вовсе не отличавшихся подобным стремлением. Вот почему ему не сиделось в относительно спокойной Москве, и он всеми способами добивался скорейшей отправки на фронт.

Так поступил бы созданный его воображением прообраз или лирический герой, и то же он считал обязательным для себя. Конечно, это можно обозначить как позу. Можно, но вряд ли нужно. Лучше взять более широкое понятие — позиция. Она же обязательна у настоящего поэта. Не зря ведь Маяковский писал: «Мы крепки как спирт в полтавском штофе... Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак».

Позиция и облегчала и усложняла Уткину условия существования: помогала, подсказывая точку зрения, необходимый ракурс, своеобразие в освещении предмета; усложняла же потому, что требовала таких проявлений, какие непосредственно вели к абсолютной смелости, к сыновней преданности, зачастую совсем не легкой.

Но иначе он не мог. И в этом была его честность, его сила, его лирический накал. Нередко это приходило в противоречие с нормами редакционной жизни и воинского устава. Маленькой фронтовой газете словно бы мешала всесоюзная популярность Уткина, его блеск, ей скорее нужен был рядовой ремесленник, ра-

ботяга, могущий в случае необходимости без озарений, без каких-либо больших и сложных задач написать то, что сейчас же должно пойти в номер.

Поэтому-то в редакции Уткин жил особняком, стараясь, возможно чаще уезжать в действующую армию. Благородный образ, живший в нем, заставил его пойти с бойцами в атаку. Этот же благородный образ выгнал его, уже раненого и демобилизованного, из Москвы, посадил в самолет и привел к гибели. Нет, не мог Иосиф Павлович Уткин не быть на месте — там, где решалась судьба всего, что было ему дорого и что он любил даже сильнее самой поэзии.



то был храбрый человек

Я очень обрадовался, когда в середине августа 1941 года узнал, что Иосиф Уткин, так же как и я, получил назначение в редакцию газеты Брянского фронта «На разгром врага». Уткина я тогда знал мало, но мне нравились его стихи, их подлинный, не наигранный лиризм.

В юности, как известно, Уткин был похож на молодого Байрона: каштановая копна волос над бледным высоким лбом, орехового цвета глаза с длинными ресницами, нежный и в то же время сильный, волевой рот — сплав мужества и юношеской женственности. К зрелым годам он чуть отяжелел, погрузнел, юношеская женственность отлетела от него, но все же он был еще очень красив, и на литературных вечерах восторженные девчонки по-прежнему присылали ему записочки с признаниями и уверениями.

К тому же Уткин был начисто лишен жречески-кастовой фанаберии, свойственной иным нашим поэтам, остроумен, независим и смел в суждениях. Я помню, что познакомил меня с Уткиным Лев Вениа-

минович Никулин, и я сразу почувствовал симпатию к нему.

Перед отъездом на фронт мы встретились в Союзе писателей на улице Воровского. Хорошо подогнанная военная форма шла Уткину. Вместо пилотки на голове его ловко сидела общевойсковая офицерская фуражка с красным околышем, из-под козырька с небрежной, казачьей какой-то лихостью выбивался на лоб темно-каштановый чуб. Пояс на гимнастерке затянут тесно, — палец едва просунешь. Видно было, что поэт с удовольствием носит военную форму и у него есть вкус к военному делу. Он придиричиво оглядел меня с головы до ног и сказал:

— Сапоги могли бы вам получше выдать, но в общем вы выглядите хоть куда! Только купите себе в Военторге фуражку, как у меня. Пилотка пилоткой, а офицерскую фуражку надо иметь.

На фронт Уткин уехал поездом на неделю раньше меня. Я же по приказу А. М. Воловца выехал в Брянск машиной в составе целого каравана грузовиков с типографским имуществом. Мы благополучно добрались до Брянских лесов. Здесь, в двенадцати километрах от города, находившегося под неусыпным наблюдением немецких бомбардировщиков, в чащобах дивного смешанного хвойно-лиственного леса, расположились все многочисленные службы штаба фронта, которым командовал генерал Еременко.

Уткин встретил меня радостно и совсем по-приятельски. Он за эту неделю успел стать и в редакции и в политуправлении фронта своим человеком. Держался он в сложной армейско-редакционной обстановке просто и ровно, однако не допускал при этом никакого хлестаковского панибратства со стороны любителей

так называемой «солдатской простоты». Что-то такое было в его манере говорить и смотреть на собеседника чуть прищурясь, что удерживало самых разнузданных любителей этой «простоты» от жгучего искушения покровительственно похлопать знаменитого поэта по плечу:

— Ну, что, брат Уткин, вместе служим, а?!

Третьим штатным «писателем» в редакции оказался Исая Рахтанов. Ходил он чуть волоча пораженную в раннем детстве параличом ногу, подпоясывал гимнастерку офицерским ремнем значительно ниже поясицы, был при этом очень мил, приветлив и острил смешно, хотя и несколько книжно. На фронт Рахтанов пошел добровольцем. Я заметил, что Уткин оберегает его от наскоков редакционных остряков.

На следующее утро после моего приезда в избу лесника, где расположилась редакция фронтовой газеты, меня вызвал Александр Михайлович Воловец и, ласково глядя своими темно-карими смеющимися глазами, в самой категорической форме приказал немедленно приступить к выпуску сатирического отдела в газете.

Я щелкнул каблуками и отчеканил:

— Слушаюсь, товарищ старший батальонный комиссар!

Воловец улыбнулся.

Я сказал жалобно:

— Александр Михайлович, художник у нас есть, с темами и прозой я как-нибудь справлюсь, но как быть с сатирическими стихами? Без стихов — нам труба!

— А Уткин на что? — сказал Воловец.

— Вряд ли Уткин станет делать сатиру, — возразил я, — он ведь лирик «по самой строчечной сути».

— Иосиф Павлович все может делать!— ответил Воловец.— Он для политуправления такие, знаете ли, листовки пишет— любо-дорого читать! В прозе! Попросите его, я уверен, что он напишет для вас и фельетон, и частушки, и все, что нужно!

Когда я заговорил на эту тему с Уткиным, он безо всякого ломания сказал просто:

— Конечно, я напишу что-нибудь для вашего «Осинового кола». Хотите частушки?

И он действительно написал для первого выпуска «Осинового кола» (так назывался сатирический отдел нашей газеты) бойкие частушки про Гитлера. «Все, что нужно»,— как говорил А. М. Воловец.

В свободные от редакционной работы минуты мы уходили с Уткиным в глубь леса, находили какую-нибудь укромную полянку и, усевшись на пеньки, откровенно говорили обо всем на свете: о фронтовых делах, о том, что будет после войны, когда наша армия добудет трудную, нескорую победу, о судьбах России, о тяжелой доле русского мужика-колхозника, который на третьем месяце войны оказался в оккупации под властью жестокого, бесчеловечного врага. Уткин, говоря обо всем этом, часто повторял строки Блока:

Доколе коршуну кружить?!
Доколе матери тужить?!

Однажды на такой полянке он прочитал мне только что им написанные прекрасные стихи о дубах-нелюдимах. В синем, эмалево-чистом небе шли над нашими головами в четком хищном строю эскадрильи «юнкерсов» бомбить наши тылы. Дуб-нелюдим, под которым мы укрывались, тревожно шумел своей тем-

ной листвой, когда налетал ветер,— будто предупреждал нас о неминуемой беде. Стихи Уткина были полны мрачных предчувствий.

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — *другая*.
Это значит... сырая земля.

Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне...

Сидение в домике лесника вскоре стало казаться нам слишком уж идиллическим. Работы в редакции, правда, хватало. Появились у нас и друзья — интересные люди: бригадный комиссар Шлихтер из политуправления, широко образованный марксист со свежими собственными взглядами на многие трудные вопросы тогдашней действительности; подполковник Л. М. Максимов из фронтовой разведки, живой, остроумный человек, разрешавший нам присутствовать на допросах пленных немцев; председатель Военного трибунала фронта московский юрист Бенедиктов. Короткие беглые встречи с ними были приятны, но нас влекло на фронт, на передовую, хотелось понюхать настоящего пороха. Мы стали нажимать на Воловца, просить командировку. Он долго сопротивлялся, но потом не выдержал и подписал командировочное предписание, выделив в наше распоряжение свою «эмку» с шофером.

Мы собрались ехать под Почеп, где происходили «бои местного значения», которые, по замыслам штаба, должны были перерасти в более крупные и значитель-

ные. Увы, наша с Уткиным первая (и последняя) совместная поездка на фронт неожиданно, как это часто бывает на войне, едва начавшись, закончилась, и не в Почепе, а в Брянске.

Произошло все это так. Нам бы ехать из Брянского леса прямо по предписанию командировочного удостоверения, то есть за Десну под Почеп, а нас черт угадал «на одну минуточку» заскочить в Брянск в городскую типографию, где временно печаталась наша газета, повидаться с товарищами. Эта «минуточка» все и решила.

— Хорошо, что вы заехали!— обрадовался нам выпускающий нашей газеты.— Звонил редактор, приказал, если вы появитесь, вернуть вас обоих назад в лес, в редакцию.

— Что за чушь!— возмутился Уткин.— А вы спросили Александра Михайловича, почему, собственно, мы должны вдруг ни с того ни с сего возвращаться не солоно хлебавши?!

Выпускающий тонко улыбнулся:

— Начальству нельзя задавать вопрос, тем более на фронте. Начальство само задает вопросы!

Он сделал паузу и прибавил с той же тонкой дипломатической улыбкой:

— Возможно, редактор что-то задумал и ваши перья ему срочно понадобились. А возможно и другое. Вас, писателей, у нас в редакции три: Уткин, Ленч и Рахтанов. Нерасчетливо двоих сразу посылать на передовую. Мало ли что может случиться! По одному— вот это по-хозяйски! Впрочем, все это мои личные домыслы.

— Мы что же — должны сейчас же ехать назад?

— Плохо вы знаете Воловца!— сказал выпускающий.— Он хороший человек и хороший психолог.

Он разрешил вам переночевать в Брянске. Утром вернетесь к себе в лес. Можете до комендантского часа сходить в кино, погулять по городу. Ночевать будете не где-нибудь на ящиках и лавках, а в городской гостинице на настоящих кроватях с настоящими пружинными матрацами. В общем, ступайте с богом и вкушайте дары цивилизации.

Что нам оставалось делать? Мы поставили нашу машину во двор типографии, а сами отправились вкушать «дары» брянской «цивилизации». Мы побродили по полупустому городу, посидели на скамейке в тенистом сквере, послушали концерт синиц и.. пошли в гостиницу, почти пустую. Нам дали каждому по номеру, и мы отлично выспались на настоящих пружинных матрацах, лежащих на настоящих кроватях. Утром нас разбудила сирена воздушной тревоги; впрочем, она была короткой, и мы быстро прикатили в свой лес, в свою родимую избу лесника...

Воловец под строжайшим секретом сообщил нам, что под Почепом затевается «нечто весьма серьезное»,—сейчас писать о боях на этом участке фронта преждевременно. Поэтому он нас и отозвал. Нам пришлось смириться.

Теперь я хочу рассказать о том, как был ранен Уткин. О ранении поэта рассказывали и даже писали многие, допуская при этом разные, крупные и мелкие, неточности. Мне о своем ранении рассказал сам Уткин, и я передам его рассказ, ничего не прибавляя и ничего не убавляя.

Мне очень хотелось написать для «Известий» о действиях штурмовой авиации Брянского фронта.

Я получил у Воловца разрешение слетать в Жиздру, где стояла дивизия штурмовиков. Первым, кого я увидел на крыльце избы лесника, когда вернулся из командировки, был Уткин, — в шинели, с вещевым мешком за плечами, с автоматом на ремне. Мы поздоровались, и он сказал мне:

— С бригадным комиссаром Шлихтером я уезжаю сейчас на фронт. Туда же, под Почеп. Там предстоят большие дела, будем прорывать фронт Гудериана. Ступайте сейчас же к Воловцу и просите, чтобы он отпустил вас с нами. Мы вас обождем!

Предложение было заманчивым. Я бросился к Воловцу, но добрейший Александр Михайлович на этот раз оказался непреклонен.

— Сначала дайте в газету материал о штурмовиках, а там... видно будет!

Уткин уехал один. Примерно дней через пять-шесть, под вечер, в избу лесника, согнувшись, чтобы не задеть головой притолоку, ввалился высоченный военврач с двумя шпалами на петлицах заношенной гимнастерки, поздоровался и сказал хриплым басом, обратившись ко мне — я был к нему ближе других:

— Уткин у вас работает?

— У нас, — сердце у меня замерло.

Военврач вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Я ему только что четыре пальчика на правой руке того... оттяпал!

Уткин после ранения был доставлен с фронта самолетом в полевой подземный госпиталь на окраине Брянска. Я поехал туда вместе с высоким хирургом (фамилию его я забыл) в тот же вечер. По его распоряжению мне дали халат (он весь был в неотмытых бурых пятнах), и я пошел по узкому проходу среди

кроватей, на которых лежали раненые, я искал Уткина.

Воздух, насыщенный специфическими госпитальными запахами, был тяжелый, спертый из-за отсутствия вентиляции. Кто-то тихо стонал, кто-то громко бредил. Наконец я увидел красивую голову Уткина, лежащую на подушке. Я подошел к его кровати. Поверх одеяла покоилась его правая забинтованная рука. Алые свежие пятна крови проступали на белой кукле повязки. Он был изжелта-бледен, лицо осунулось, глаза раскалены страданием. Я сел у него в ногах и, проклиная свою чувствительность, отвернулся, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Уткин молча пожал здоровой левой рукой мою руку. Справившись с собой, я сказал:

— Расскажите, как это все произошло, Иосиф!

И вот что он мне рассказал тогда, в сентябре 1941 года, в полевом подземном госпитале.

Бригадный комиссар Шлихтер и Уткин безо всяких осложнений добрались до передовой. В лесу, где были сосредоточены части прорыва, состоялся митинг. Уткин выступил на митинге с речью, потом читал стихи. После короткой огневой подготовки началась атака. Политработники, выступавшие на митинге, решили идти в бой вместе с бойцами. Вместе с ними пошел и Уткин.

— Зачем вы это сделали, Иосиф? — вырвалось у меня. — Вы же работник газеты, поэт... вы могли и не пойти, никто бы вас не осудил за это!

— А совесть? — сказал Уткин, глядя на меня с укором. — Я выступал на митинге... призывал и взывал... стихи им читал! А потом — в кусты?! Думаю, что и вы на моем месте поступили бы так же.

Атака наша захлебнулась. Части, брошенные в наступление, состояли из молодых, необстрелянных солдат, а противостояли им крепкие эсэсовские полки. Немцы открыли огонь по наступающим из тяжелых минометов с дальних позиций, а потом поднялись в контратаку. Наци дрогнули и попятились. Политработникам, в том числе и Уткину, пришлось заниматься самым тяжелым делом, какое порой ложится на плечи командиров и политработников в бою, — тушить начинающуюся панику. И они ее потушили. Необстрелянные бойцы остановились, подоспели резервы, контратака немцев была отбита!

Но о финале боя Уткин узнал уже в санбате. Поблизости от него разорвалась тяжелая немецкая мина, завизжали осколки, один из них отсек Уткину три пальца правой руки, оставив четвертый висеть на ниточке кожи, другой — впился оказавшемуся рядом политруку в левую ягодицу. Потерявшего много крови Уткина погрузили в самолет и перебросили в Брянск. Через несколько дней по приказу генерала Еременко поэт, награжденный орденом Красной Звезды, был самолетом же отправлен на лечение и протезирование в Москву.

В начале 1942 года я по приказу тогдашнего заместителя наркома обороны Кузнецова был отозван с фронта в связи с обострившимся старым легочным процессом и вернулся в Москву. Здесь я снова встретился с Уткиным. Он продолжал носить военную форму. Черная лайковая перчатка туго стягивала протез на правой руке. Вскоре он снова уехал на фронт — повидаться со старыми друзьями и набраться новых фронтовых впечатлений.

...Осенью 1944 года у меня на квартире раздался

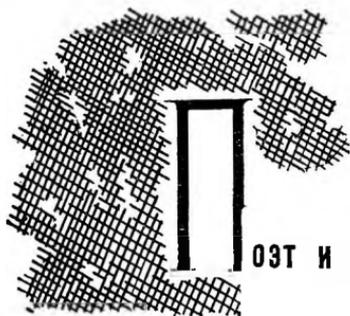
телефонный звонок. Я снял трубку, узнал голос Сергея Васильева, и по его тону понял, что случилась какая-то большая беда.

— Я только что из морга. Мы с Антокольским ездили для опознания тела Уткина.

— Боже! Когда это случилось?!..

— Сегодня утром. Возвращался из Бухареста... туман... авиационная катастрофа... у него в руке был томик Лермонтова!

Я положил трубку. Рыдания душили меня. Ему шел сорок первый год! Как рано оборвалась красивая жизнь этого талантливого поэта и храброго человека!



ПОЭТ И ПОЛИТБОЕЦ

Летом 1942 года «тихий» Брянский фронт вдруг стал, что называется, «горячим»: гитлеровцы начали наступление на Воронеж с оперативной задачей — прорваться к Волге и с ходу овладеть Сталинградом. Брянский фронт, до этого обращенный на запад, развернулся лицом на юг, как бы прикрывая собой возможность флангового удара противника в направлении на центральные районы страны, в том числе и на Москву.

Вначале штаб фронта находился под Ельцом, а позднее перебазировался под Ефремов. Нас, военных корреспондентов центральной прессы, на этот раз опекал комендант штаба фронта, капитан Зиновьев, человек доброй души и искренней привязанности к «пишущим». Он радушно привечал не только аккредитованных при фронте писателей и журналистов, но и гостей, наведывавшихся на фронт на сутки или на недельку. «Пристрастность к пишущим» испытал на себе Петр Павленко, нечаянно возникший в нашем палаточном городке верхом на каурой лошади и дня через три так же неожиданно исчезнувший на быстроходном «шевроле». За три дня капитан Зиновьев протоптал к его палатке тропу, звавшую штабных офице-

ров на очередной раунд необычайных по содержанию и редких по авторскому исполнению остроумных рассказов Павленко «Из жизни».

Но «палатка Павленко» была только скоротечным эпизодом. Не тропа, можно сказать — целая полевая дорога вела в другую палатку, стоявшую немного на отшибе от нашего городка, на опушке березового молодняка. Жил в этой палатке не заезжий представитель московской прессы и не постоянный корреспондент какого-то органа печати на Брянском фронте. По первоначалу мы в точности даже и не знали, кем не по званию, а по должности состоит на фронте поэт Иосиф Уткин. Во фронтовой газете и в «Красной звезде» печатались его стихи: они не были прямым отражением происходящих событий — поэт, становясь на место солдата, как бы осмысливал пережитое, а главное — даже в те трудные, до отчаяния тяжелые дни он писал:

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет:
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет.

Иосифа Уткина тогда справедливо называли политбойцом политуправления фронта. Большую часть времени его палатка пустовала. Он разъезжал по дивизиям, полкам и батальонам. И накануне ли предстоящей атаки на вершину Огурец или за час до ухода разведчиков на задание выступал перед бойцами с короткой речью. В расстегнутой шинели, с забинтованной после ранения рукой, покоившейся на зеленой ленте, перекинутой через плечо, с копной темных кудрей — таким запомнился он мне на лужайке, около леса. На траве сидели и лежали солдаты. А пламенный агитатор говорил о долге, о чести, о мужестве. И я

видел, как один за другим поднимались с земли, вставали и без команды «смирно» выпрямлялись солдаты, когда Уткин читал только вчера написанные стихи:

Клянусь: назад ни шагу!
Скорей я мертвый сам
На эту землю лягу,
Чем эту землю сдам.

Клянусь, мы будем квиты
С врагом. Даю обет,
Что кровью будут смыты
Следы его побед!..

Я несколько раз бывал на выступлениях Уткина среди солдат. Всегда слово и стих поэта были боевой, моральной зарядкой, они укрепляли веру солдат в правоту нашего дела, в победу.

А те дни, когда Иосиф Павлович находился в палатке, он был лишен одиночества. К нему тянулись не только мы, московские журналисты, но и приезжавшие в политуправление фронта сотрудники армейских газет, политработники. В вечерние часы палатка Уткина наполнялась, что называется, до отказа. Он охотно читал нам стихи. Большинство из нас были его сверстниками. Многие наизусть знали старые его стихи, особенно «Повесть о рыжем Мотэле». Он был в тройке комсомольских поэтов — Безыменский, Жаров, Уткин, — заложивших основы современной гражданской лирики и боевого, зовущего на подвиг стиха.

На память о беседах на Брянском фронте у меня осталось несколько фотографий: приехала к нам фотокорреспондент Галина Санько, пощелкала затвором объектива, а у меня на всю жизнь осталось несколько фотографий с Иосифом Уткиным — поэтом и политбойцом Брянского фронта в лето 1942 года.



ы познакомились в 1943-м...

В первый же день Великой Отечественной войны вспыхнули литовские города и села, подожженные гитлеровскими бомбами. Литовские писатели Пятрас Цвирка, Саломея Нерис, Людас Гира, Костас Корсакас, Йонас Марцинкявичюс, начинающие поэты Владас Мозурюнас и Эдуардас Межелайтис участвовали своим творчеством в священной войне: они выступали перед бойцами литовской дивизии, сформированной на волжских берегах и прошедшей боевой путь от Орла до Клайпеды, читали свои произведения по радио, издавали в Москве свои книги.

В годы войны литовские писатели познакомились в Москве с русскими собратьями по перу — с А. Фадеевым, А. Твардовским, А. Сурковым и многими другими. Большинство из них находились на фронтах и лишь изредка появлялись в Москве, где их чаще всего можно было встретить в клубе Союза писателей — во время обеда или на обсуждениях новых произведений. В начале 1943 года мы познакомились еще с одним видным русским поэтом — Иосифом Павловичем Уткиным, имя которого было знакомо нам еще до войны:

его поэма «Повесть о рыжем Мотэле» была переведена и опубликована в прогрессивном журнале «Культура» еще в буржуазной Литве.

Теперь мы познакомились с поэтом лично. Он сразу очаровал нас — высокий, привлекательный, с выразительным лицом, живым взглядом, в котором сверкали жажда жизни, энергия и ум. Духовным богатством веяло от этого человека с густой торчащей шевелюрой и бархатными карими глазами. Руку он пожимал крепко и искренне, радуясь, что ему удалось познакомиться еще с одним человеком, от которого можно еще что-то узнать о новой советской республике. С большим интересом листал он первый сборник литовских поэтов на русском языке, только что изданный в Москве, — «Живая Литва».

Сборник был тоненький, его обложку украшала ветка литовского национального цветка — руты, в нем были стихи наших поэтов Саломеи Нерис, Людаса Гиры, Костаса Корсакаса, Йонаса Шимкуса, Эдуардаса Межелайтиса и мои. Иосиф Уткин внимательно рассматривал эту небольшую книжицу, которой было суждено начать путь литовской литературы к всесоюзному читателю, и сказал:

— Послушайте, а что, если нам устроить в Союзе писателей обсуждение этой книги... Ведь и нам было бы интересно услышать от литовских товарищей побольше о вашей республике и о вашей литературе. Нам, московским литераторам, было бы интересно разобрать то, что уже дали нам наши друзья-литовцы...

Мы с радостью подхватили эту мысль. Нам было лестно, что Иосиф Уткин сам согласился подготовить доклад. В эти дни вышел на русском языке и сборник

сказок Пятраса Цвирки «Серебряная пуля». Обе эти книжки было решено взять за основу обсуждения. Тогдашний руководитель наших писателей Костас Корсакас договорился обо всем с участниками будущего обсуждения, несколько раз встречался с Уткиным.

11 марта 1943 года состоялось расширенное заседание национальной комиссии Союза писателей, посвященное обсуждению этих двух книг. В обсуждении принимали участие все литовские писатели, находившиеся в то время в Москве, не было лишь Людаса Гирры, который жил в Горьковской области, в Балахне, где раньше создавалась литовская дивизия. Русских писателей пришло немного. Но для нас это обсуждение имело принципиальное значение. Наша молодая советская литература впервые выходила на всесоюзную арену и становилась объектом внимания русских писателей.

Заседание открыл Петр Скосырев. Он сказал, что хотел бы подробнее ознакомиться, над чем работают сейчас литовские писатели, но даже две книжки, изданные на русском языке, уже дают основание для обмена мнениями. Он предоставил слово Иосифу Уткину, который в своей речи откровенно и с большой симпатией проанализировал первый коллективный сборник литовских поэтов на русском языке. Иосиф Уткин вспомнил первые дни Советской Литвы, когда многие писатели заняли руководящие посты в республике.

«Это заинтересовало нас потому, — говорил он, — что свидетельствовало о роли литовской литературы в общественной жизни страны». Далее он начал развивать мысль о том, что доподлинная писательская дружба может возникнуть лишь при искренней, про-

фессиональной оценке творчества друг друга. Итак, если мы хотим перейти от вежливых дипломатических отношений к настоящей дружбе, мы должны перевести эти отношения в плоскость простоты и дружбы. Мы должны вести разговор как писатель с писателем.

Именно такой разговор и повел он. Он приветствовал издание нашего сборника и видел его достоинства в том, что в нем чувствуется живая Литва и живые литовцы. Начав великое сотрудничество наций, говорил он, мы продолжим его в интеллектуальной области. «Живая Литва» — это первое знакомство с литовской поэзией, и знакомство приятное. После этих вступительных слов Иосиф Уткин приступил к подробному разбору сборника в свете исторических традиций литовской поэзии, ее народных истоков:

«Поэзия Литвы народна. Народная песня — это основной резервуар поэтического богатства Литвы. Народность литовской поэзии предупреждала возможность урбанистических «измов», столь характерных для Запада этого века. В основном здоровый литовский народ не мог обеспечить декадентствующих горожан аудиторией. Я бы сказал: декаданс оказался нерентабельным в Литве. Но путь литовской поэзии — это путь, намеченный и обозначенный именами Донелайтиса, Страздялиса, Дионизаса Пошки, Майрониса, Юлюса Янониса. И хотя Литва пережила все полагающиеся современности явления поэтического декаданса, в основе своей литовская поэзия осталась поэзией здорового литовского народа».

Коснувшись затем связи молодой советской литовской поэзии с народным творчеством и справедливо заметив, что истинно народное искусство — это «искусство,

стоящее на уровне современных проблем и интересов своего народа», Иосиф Уткин дал такую общую характеристику сборнику «Живая Литва»:

«Если каждый поэт Литвы, вошедший в этот сборник, отличен по своему творческому лицу, то одно общее для всей книги, несомненно, в этом сборнике есть: это борьба за живую Литву. И еще характерна для этой книги влюбленность авторов в свою родину, в ее природу, в ее историю, а значит, и в ее будущее. Эта страстность в любви к родине и в ненависти к ее поработителям — залог грядущей темы победы. Ее дождется и добьется литовский народ, о ней напишут его поэты».

Проанализировав стихи каждого поэта, помещенные в этом сборнике, Иосиф Уткин закончил свое выступление следующими словами:

«Сборник «Живая Литва» нам особенно интересен как барометр общественных настроений Литвы. Барометр показывает бурю. Но мы ее не боимся, а вместе с литовским народом, вместе с его поэтами жаждем этой бури. Девятый вал народного гнева будет последним в море фашистских преступлений. С ним мы выйдем на берег освобожденной Литвы. Но путь к берегу ведет через бурную стихию борьбы. Борьба будет жестокой, но мы к ней готовы. Готов к ней и литовский народ. Готовы к ней и литовские поэты. Об этом красноречиво свидетельствует сборник литовских поэтов — «Живая Литва».

Мы приняли слова Иосифа Уткина как поощрение большого русского поэта смелее осваивать новые темы, энергичней искать новые формы, не уходя от жизненных проблем своего народа.

Я был счастлив, когда во время подготовки моего первого поэтического сборника на русском языке

«Родное небо» (он вышел в 1944 году) Иосиф Павлович согласился написать короткое вступительное слово к нему. Для меня, молодого советского поэта, были очень дороги такое внимание и такая помощь Уткина. Готовя этот сборник, я еще несколько раз встречался с ним. К сожалению, мне не довелось вручить ему свою книгу: летом 1944 года я уехал в освобожденную Литву, а осенью узнал о гибели поэта в авиационной катастрофе. Безвременная смерть Иосифа Уткина вызвала глубокую скорбь не только его старых товарищей, но и у нас, литовских поэтов, сравнительно недолго знавших его близко.



С Иосифом Уткиным меня познакомил Юрий Олеша, мой сосед: мы жили в одном доме в Сретенском переулке. Иосиф был очень красивым, элегантным молодым человеком, одевался с большим вкусом, всегда следил за собой — недаром, говоря о нем, мы напевали на мотив Моцарта:

Иосиф резвый, кудрявый, влюбленный
И всегда очень блатора...збмный.

Он очень любил классическую музыку и нередко заходил ко мне послушать Шопена или Шумана, к которым был равнодушен. Я тогда усердно занимался игрой на фортепиано и неизменно предупреждал своих слушателей, что, конечно, с удовольствием сыграю для них, но при одном условии: если какой-нибудь пассаж не будет мне удаваться, я буду повторять его до тех пор, пока не одолею, и только потом стану играть дальше. Заранее извинившись, я просил их набраться терпения. Иосиф был очень терпелив. Его не раздражало, если в середине баллады Шопена я переходил вдруг на разучивание явно не поддающихся трех-че-

тырех тактов. Он тихо сидел на диване, что-то чертил в своей записной книжке, а иногда говорил:

— По-моему, у тебя все в порядке. Теперь начни балладу снова, но не сначала, а с того места, где шумят деревья.

Иосиф музыку представлял себе в зрительных образах: вот шумят деревья... а это поется у тихого пруда... здесь она танцует... он сидит на скамейке и следит за ней. И так до бесконечности. Я не пытался спорить с ним, у меня музыка не вызывала таких зрительных ассоциаций...

В августе 1942 года мы случайно встретились на одном из фронтовых полустанков. В поисках кипятка я пробирался под товарными вагонами с чайником в руке, как вдруг меня окликнул знакомый голос. Оглянувшись, увидел Иосифа — военная форма шла ему: он был такой же подтянутый, строгий, красивый, улыбающийся. Мы обнялись.

— Ты куда? — спросил он меня, после взаимных приветствий.

— На Брянский, а ты?

— Я только оттуда.

— Как там?

— Пока тихо, посмотрим, что будет...

— Что нового, что написал?

— Есть кое-что, могу почитать.

— Прости, некогда, — я как-то глупо усмехнулся, скосив глаза на пустой чайник, — ребята ждут, да и поезд скоро уходит.

Иосиф понимающе улыбнулся, развернул планшет, вынул несколько машинописных листков и протянул мне их со словами:

— Ну ладно, беги. Будет время, прочтешь,— может быть, напишешь песню.

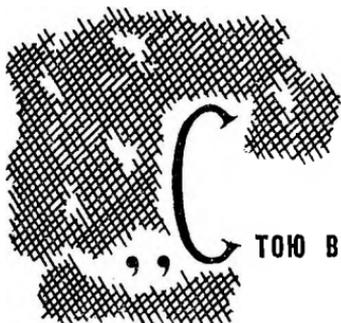
Мы обнялись, прощаясь, и я снова юркнул под вагоны. Уже в поезде я успел прочесть стихи. Мне особенно понравились «Я видел девочку убитую...» и «Если будешь ранен...». Я решил написать музыку, но все откладывал— захлестывали неотложные дела. Через некоторое время, уже в Москве, я получил письмо от друзей из далекого Ташкента, в котором сообщалось, что Иосиф ранен в руку и находится на излечении в местном госпитале. Я написал ему веселое, шуточное письмо, начав со строчек его стихотворения: «Если будешь ранен, милый, на войне, напиши об этом непременно мне...» Далее, писал я ему, мы все рады, что рана пустяковая (я не знал о его тяжелой контузии) и что он жив, и что все друзья ждут его скорейшего выздоровления и приезда в Москву. Ответа я почему-то не получил. Потом выяснилось, что он снова уехал на фронт...

1944 год. Поздняя осень. Москва. Мы стоим в скорбном карауле у гроба Иосифа Уткина в Союзе писателей. Трагическая смерть— авиационная катастрофа под Москвой за полгода до Дня Победы. Какая боль, какая утрата, какая грусть...

Возвратившись с похорон домой, подавленный и опечаленный, я сел за рояль и сразу сочинил музыку на стихи «Если будешь ранен...». Эту песню-романс почему-то не хотели исполнять ретивые музыкальные деятели, упорно боровшиеся в то время с джазом и «плаксивой» лирикой, нашли в ней «жестokie интонации цыганского романса».

И только недавно чудесная певица Нина Исакова блестяще опровергла эти «утверждения», исполнив с

эстрадным оркестром Всесоюзного радио эту полузабытую песню. А я сидел дома у приемника, слушал, и мне вдруг вспомнились далекие фронтовые дороги, товарные поезда, мой большой закоптелый чайник, и, как живой, предстал предо мной милый Иосиф, торопливо расстегивающий полевой планшет, наполненный боевыми стихами...



тою в смятеньи у порога...“

Недавно мне подарили книгу стихов, я тут же раскрыл ее. С портрета на меня глянул задумчивым взглядом поэт — кровь прилила к голове, и мне вдруг послышался далекий, но такой знакомый голос: «Я думаю чаще и чаще, что нет ничего без границ, что скроет усатая чаща улыбки приятельских лиц...»

Это было в конце войны, в 1944 году. Замотанный и уставший после непрерывной многодневной гонки по дорогам Словакии, я остановился в небольшом селе восточнее Кошице, чтобы немножко передохнуть и привести себя в порядок. Вынул из полевой сумки пачку газет за несколько дней, прихваченных в штабе одной из армий, и стал быстро просматривать... Пробежав по всем четырем страницам, мои глаза вдруг остановились и застыли на черной рамке в верхнем углу справа. Краткий некролог сообщал о гибели на боевом посту человека, с которым я был связан дружбой два десятка лет, вместе с которым я провел свои юные годы.

Последний раз мы с ним встретились... Нет, не встретились, а должны были встретиться, но помешали

какие-то, мне хочется даже написать — роковые, обстоятельства, потому что весь этот эпизод сейчас кажется странным и удивительным.

Осенью 1944 года я прибыл в Москву по вызову ТАСС, который я представлял на 1-м и 4-м Украинских фронтах в качестве специального военного корреспондента, и после завершения служебных дел зашел к Иосифу на квартиру. Родные сказали, что он улетел на фронт, куда-то в сторону Львова. Ну и чудесно, подумал я, завтра я вылетаю в этом же направлении на 4-й Украинский фронт. В штабе фронта мне сказали, что Уткин был здесь, но выехал на 1-й Украинский, где и просил его искать. Недолго думая, сажусь в машину и мчусь в расположение 1-го Украинского фронта, но там узнаю, что он, кажется, уехал опять на 4-й Украинский. Утром еду к себе, но и у нас его не оказывается. Впоследствии выяснилось, что он все же был на 1-м Украинском, — меня информировали неправильно.

Так мы разминулись — и разминулись навсегда. Я то свертывал газетный лист, то снова разворачивал его, вновь и вновь перечитывая некролог... Смерть на войне не в диковинку, но когда узнаешь о гибели товарища — все равно не можешь успокоиться. Передо мной в какое-то мгновение пронеслась его жизнь. Я живо представлял его и молодым и зрелым, веселым и грустным, спокойным и раздражительным, но никак не мог представить его мертвым...

Мы вместе учились в Москве, в Государственном институте журналистики. Это было давно, в двадцатых годах, мы были тогда невероятно молоды, совсем мальчишки... Студенческий коллектив был небольшой, но дружный, очень горячий: по каждому

поводу возникали споры до драк, до ссор, которые заканчивались мировой.

В институте нас было пятеро друзей — Иосиф, Михаил Павлов, Семен Анисимов, Александр Кузнецов и я. Мы всегда были вместе. Иосиф посвятил нам стихотворение — лирическое, задумчивое, грустное. В нем есть такие строки: «Вот девушку любим и нежим, а станет жена или мать, мы будем все реже и реже любимой ее называть». Если не ошибаюсь, стихотворение вызвало возражения со стороны некоторых поэтов, в частности Александра Безыменского, которому, видимо, прищлась не по душе «пессимистическая» нотка. Но в жизни так бывает!..

Часто на лекциях Иосиф что-то усиленно писал. Он сидел на одной из задних парт и писал, иногда даже не обращая внимания на то, что говорил преподаватель. Как оказалось, это была поэма «О рыжем Мотэ-ле» — мы узнали об этом, когда она была опубликована в журнале «Молодая гвардия». Поэма имела большой успех и сделала Уткина популярным. Потом ее издали отдельной книжкой как приложение к журналу «Прожектор»...

На войне не приходится долго предаваться грусти, как бы печально ни было известие. Положив газеты в полевую сумку, я сел в машину и уехал туда, где разыгрывалось одно из последних сражений. В тот же день через военный узел связи послал матери Иосифа телеграмму с выражением сочувствия ее горю.

Сразу же после окончания войны мне пришлось жить и работать в одной из европейских столиц, освобожденной советскими войсками. В гостях у помощника коменданта города я познакомился с капитаном первого ранга товарищем Н. Разговаривая, он держал

руки на столе и непрерывно шевелил пальцами. Он то сжимал, то разжимал их, словно они выпадали из суставов. Я украдкой наблюдал за ним. Поймав мой взгляд, он сказал, поморщившись от боли:

— Пальцы ноют. Повредил во время аварии самолета. Я да известный партизанский командир Батя хорошо еще отделались, а наши спутники поплатились жизнью. С нами летел и поэт — Иосиф Уткин... Между прочим, его не хотели брать — на самолете не было свободных мест. Мой товарищ, инженер-капитан, уступил ему свое место... Погода была ненадежная. Но всем надо было лететь. На Щелковском аэродроме буквой «Т» высился костер, сигнализировали, что не надо садиться, а наш самолет все же пошел на посадку. И вот...

— Да, — глубокомысленно сказала жена помощника коменданта, — какая глупая смерть.

— Глупая смерть, — усмехнулся моряк, — как будто бывает умная смерть. — И, философствуя, добавил: — Умной может быть только жизнь. Говорят, смерть неизбежна только в старости, а в возрасте нашего поэта — она только случайность. — И, кивнув хозяйке, сказал: — В данном случае, если хотите, скажем лучше, что это глупая случайность.

Через год после окончания войны я приехал домой, в Москву, и первым моим желанием было навестить мать поэта.

Я часто бывал в этом доме, знал, кажется, каждую ступеньку лестницы, но никогда она не казалась такой крутой, как в этот раз, когда я поднимался в квартиру, хозяина которой уже не было в живых. Стою в смятении у порога и не могу переступить... Сказать им: «Вы осиротели... ваш любимый сын в бою погиб за родину свою...» Как в дом войти с такою

вестью...» Подумать только: Иосиф написал эти строки еще в 1942 году!..

Я осторожно нажал кнопку звонка. Послышались медленные, шаркающие шаги. Дверь открылась, и я увидел его мать. Большие за выпуклыми стеклами очков, невидящие глаза ее были широко открыты и спокойны. Она спросила своим твердым басистым голосом курильщицы:

— Что же вы молчите. Кто вы?

Вместо того чтобы назвать себя, я только поздоровался, надеясь, что она узнает меня, как прежде, по голосу, и я не ошибся.

— Ты?.. Я очень рада, не забыл,— она обняла меня.— Война давно кончилась, все возвратились по домам, а ты носа ко мне не кажешь...

— Нет, что вы, я только приехал, и вот — сразу... — поторопился я перебить ее. Предстояло самое трудное. Я чувствовал себя ужасно. Она провела меня в свою комнату, усадила на диване рядом с собой. Я отвечал на ее вопросы невпопад, неуверенно, плохо скрывая свое настроение. Я говорил об одном, а думал совсем о другом, и она это заметила.

— Ты какой-то невеселый. У тебя, наверное, неприятности. Ты не скрывай, говори, мы с тобой старые друзья...

В эту минуту в квартиру позвонили, и я вызвался открыть дверь. Пришла Августа Павловна, младшая сестра Иосифа. Увидев меня, она отшатнулась, переменялась в лице, словно я не стародавний знакомый, а нежданный гость с большой дороги.

— Как ты мог прийти без предупреждения?! — сердито, даже зло спросила она.— Почему ты не позвонил по телефону?

Я с удивлением смотрел на нее — чем я проштрафился?

— Ты уже говорил с мамой?.. Твоя жена тебя не предупредила?.. Я ее просила...

Увидев Раису Абрамовну в дальней комнате и успокоившись, она завела меня в комнату Иосифа, где все было, как и при нем, чисто, просто и просторно, и шепотом рассказала:

— Мама ничего не знает... Она ждет его... Все еще ждет... Получает письма... фальшивые. Я читаю ей вслух. Иосиф где-то за границей... Мама наша — сознательная, выросла среди сибирских каторжан... Понимает...

— Позволь, а как же моя телеграмма? И потом: она ведь целый день слушает радио. Передавали же что-нибудь и об Иосифе?..

— Передавали, конечно. Но я сломала приемник. Она крутила, крутила, а звука нет. От матери все скрыли...

— Скрыли?! — едва продохнул я. — Кому могла прийти в голову эта дикая мысль?

— Может быть, мы сделали ошибку. Может быть, — повторила Августа Павловна. — Это единственная ошибка, которую мы не собираемся исправлять. Мы потеряли Иосифа... Сказать маме — значит отнять у нее жизнь...

Мы услышали ее шаги и переменили разговор.

— Ну вот, — сердито сказала она, входя и обращаясь к дочери, — вместо того чтобы покормить, напоить человека, ты занимаешь его разговорами. А ну-ка, приготовь что-нибудь вкусное... Я сама поговорю с ним. — Она взяла меня за руку и увлекла в свою комнату. — Ты знаешь, где сейчас Иосиф? — И са-

ма же ответила: — В Праге. Недавно был в Лондоне, а вот теперь в Праге. Должно быть, очень занят, редко шлет мне письма. Чаще всего телеграфирует. — Она долго шарила по столику, нащупывая какую-то бумажку, наконец нашла и подала мне: — Вот, посмотри...

Я увидел обыкновенную графленую страничку из блокнота и от руки написанное: «Обнимаю, крепко целую мою старушку. Скоро увидимся». «Какой обман», — не мог успокоиться я. Сделав вид, что внимательно прочитал телеграмму, я возвратил ее Раисе Абрамовне. Она бережно положила ее на стол — к каким-то другим бумажкам, должно быть таким же «телеграммам».

Уходя, я дал себе слово не забывать Раису Абрамовну. Первое время я почти каждую неделю приходил к ней, каждый раз она показывала мне то новое письмо, то телеграмму Иосифа.

Так продолжалось несколько лет. Я знал, что Раиса Абрамовна по-прежнему получает поддельные письма и телеграммы и терпеливо, как может только мать, ждет приезда сына...



Заря в конце дороги

Поздняя военная осень 1944 года в Москве, как, впрочем, и по всей стране нашей, протекала тревожно, но по-своему радостно, с ощущением надвигающегося ратного счастья близкой победы.

Чувство гордости владело народом — и на фронте и в тылу царили приподнятость, порыв, уверенность. Москва жадно ловила боевые факты фронтовых удач. Мы, военные корреспонденты и армейские поэты, то уезжавшие в действующую армию, то возвращавшиеся в столицу, возбужденно рассказывали друг другу подробности увиденного. При встречах, в письмах, по телефону шла жаркая переключка оперативных новостей. Помнится, что именно так я и воспринял сначала очередной звонок по телефону. Взял трубку, готовился радоваться, но на этот раз услышал далеко не радостный, необычно глухой, упавший голос Александра Жарова:

— Есть тяжкая новость... Точно еще не установлено, но боюсь, что ошибки нет... На Щелковском аэродроме, при посадке, разбился самолет. Среди погибших предполагают Иосифа Уткина... По всем приметам он...

— Откуда летел самолет?!

— Из Бухареста.

От волнения захолонуло сердце. Подозрения близки к правде: два дня назад Уткин звонил в Москву и как раз из Румынии. Мрачная, безжалостная новость!

Я кинулся в Союз писателей, не чуя под собой ног. Я любил Уткина верной, крепкой любовью младшего товарища, обожал преданностью ученика, позднее — преданностью соратника. В памяти встало все: и строгость его, и ласка, и игра на бильярде под его ревнивым руководством, и заплывы с ним на дальность в Черном море, и бесконечные прогулки по ночной предвоенной Москве с вечными спорами о поэзии, и многое, многое другое, без чего трудно было представить Иосифа Павловича!

Гордый, красивый, остроумный Уткин! Неужели судьба уготовила мне необходимость опознать его труп? Чудовищно!

И вот мы вчетвером — Павел Антокольский, Д. А. Поликарпов, Александр Жаров и я — в тесной скрипучей «эмке» молча движемся к аэродрому. Едем медленно, что называется на ощупь, — над Москвой и ее окрестностями плотной завесой стоит туман, похожий на сметану, тот самый туман, про который водители автомашин говорят: лучше уж пожар.

Дорога до аэродрома оказалась невероятно долгой. Медленная езда томит, раздражает, но дает, однако, возможность поразмыслить, построить в уме лучший, наиболее благополучный из вариантов спасения, увидеть мысленно проблеск надежды на добрый исход. Не знаю, как мои спутники, но я до последней минуты не верил в страшный конец, цеплялся за невозможное, отстранял случившееся. И невольно, помнится, по-

вторял про себя прекрасные, суровые строки стихотворения «Беженцы», написанного Уткиным в 1941 году на Брянском фронте.

Из боязни — даже вынужденно — оказаться хотя бы в малой степени натуралистичным я не могу и не хочу в этом коротком воспоминании детально описывать скорбное зрелище, представшее нашим глазам.

Замечу только, что трагедия гибели самолета произошла по вине летчика (кстати, мастера слепых полетов, Героя Советского Союза!), нарушившего почему-то приказ не делать посадку под Москвой из-за тумана, а лететь для этого в Ростов. Очевидцы, работники авиационной службы, видели, как самолет задел колесами за верхушки сосен и, ударившись о землю, капотировал не одну сотню метров...

Сперва мы осмотрели расколотый фюзеляж «дугласа», затем опознали тело Уткина. Облик его, по сравнению с другими погибшими, не был обезображен катастрофой, напротив — Уткин внешне удивительно уцелел, только кисти рук были изранены осколками стекол.

Да, перед нами лежал мертвый Иосиф Павлович. Но дорога его крылатой поэзии на этом не оборвалась, духовная энергия, сильный талант поэта продолжали полет. Их ждала светлая заря. Мы, глядя на покойного поэта, отлично это видели и понимали.

СОДЕРЖАНИЕ

М. СВЕТЛОВ. О поэте и друге	5
Г. РЖАНОВ. Самые первые стихи	8
ВАС. ТОМСКИЙ. Иркутская поэма	15
А. МИШУРИС. Ответственный секретарь редакции	27
М. СКУРАТОВ. Полжизни рядом	33
НИК. УШАКОВ. Шли двадцатые годы...	51
АЛ. МИЛЬЧАКОВ. Поэт комсомола	54
И. ЭРЕНБУРГ. И. П. Уткин	59
И. РАХИЛЛО. Ветер юности	61
Н. ПОТАПОВ. В «Комсомолке»	72
А. ЖАРОВ. Линия мужества	80
Л. РУВИНШТЕЙН. Атакующий	91
И. КОЗЛОВСКИЙ. Из воспоминаний	105
А. ГАТОВ. Мой друг Уткин	111
Л. ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Человек из сказки	120
А. ВОЛКОВ. За одним столом	126
Н. РЫЛЕНКОВ. Нежность и мужество живут рядом	150
В. ШКЛОВСКИЙ. Чердак с синими лам- почками	167
Л. М. МАКСИМОВ. В трудные дни	171
Б. НОВИЦКИЙ. От имени сверстников	175
Я. ХЕЛЕМСКИЙ. Песня, мужество и руки	197
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ. «Как подобает молодым...»	227
И. РАХТАНОВ. Военной дорогой	234
Л. ЛЕНЧ. Это был храбрый человек	245
Л. КУДРЕВАТЫХ. Поэт и политбоец	256
А. ВЕНЦЛОВА. Мы познакомились в 1943-м	259
С. КАЦ. «Если будешь ранен...»	265
Н. МАРКОВСКИЙ. «Стою в смятении у порога...»	269
С. ВАСИЛЬЕВ. Заря в конце дороги	276

В НОГУ С ТРЕВОЖНЫМ ВЕКОМ

Воспоминания об Иосифе Уткине

М., «Советский писатель», 1971, 280 стр.
План выпуска 1971 г. № 15. Художник
В. Е. Оффман. Редактор Е. И. Изгоро-
дина. Худож. редактор Н. С. Лавренть-
ев. Техн. редактор А. И. Мордовина.
Корректоры Ф. А. Рыскина и И. Ф. Со-
логуб. Сдано в набор 26/I 1971 г. Подписано к
печати 4/VI 1971 г. А05785. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1.
Печ. л. 8³/₄ + ¹/₂ вкл. (12,95). Уч.-изд. л. 11,34.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 69. Цена 53 коп.
Издательство «Советский писатель», Москва
К-9, Б. Гнезниковский пер., 10
Тульская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
СССР г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

РСФСР

ВОЕННЫЙ КОМИССАР Б-ма
Депр. Вяземский.

2 июля 1923 год.
№ 1489.
гор. Иркутск.

СПРАВКА.

Дана сия тов. УТКИНУ Иосифу, в том что он находясь политически руководителем оводной роты вверенного мне батальона, вполне оправдывал возложения на него работы, поручения, а также в равной степени соответствовал своему значению-политическому работнику, как от командиром к делу так и поведением.



КОМИССАР
БАТАЛЬОНА *Вяземский*

Справка



Иосиф Уткин Иркутск, 1923



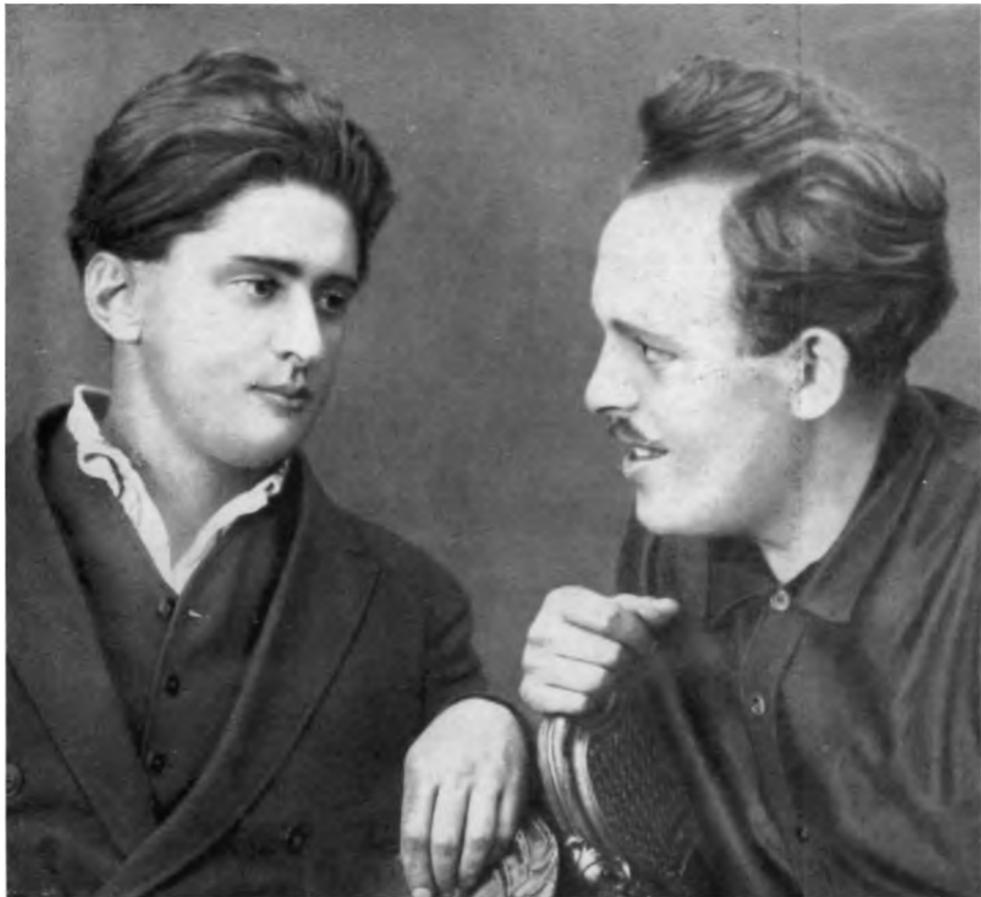
Сибирские поэты И. Уткин, И. Молчанов-Сибирский, М. Скуратов среди участников Иркутского литературно-художественного объединения. Апрель 1924



Журнал ИЛХО «Красные зори». Здесь были напечатаны стихотворения Иосифа Уткина «Красноармеец», «Мать», «Микула»



*Иосиф Уткин, Валерий Друзин, Джек Алтаузен и племянница
Уткина — Нина, дочь старшего брата, зарубленного семенов-
цами*



Иосиф Уткин и Александр Безыменский. Москва, 1926

КЛУБ КАРЛА МАРКСА

СВЯЗЬ

МИНОКРУЖКОМ Л.К.С.М. ОРГАНИЗУЕТ

11 МАЯ

ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

ПРИ УЧАСТИИ

МОСКОВСКИХ ПРОЛЕТАРСКИХ ПОЭТОВ

АЛЕКСАНДРА

ЖАРОВА,

МАРКА

КОЛОСОВА,

УТКИНА

РУССКОЙ СЕКЦИИ ВСЕБЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЭТОВ

МОЛОДНЯК (литстудия „Красный Профинтерн“)

ПРОГРАММА

К. С. ДУБОР.
 Девочка в пальто — историческая повесть
 Стихи В. И. ПЕРЕКОВА
 Александр НАРОД. Повесть „ЗАМАТЫ“
 Марк КОЛОСОВ. Девочка в пальто
 Стихи А. И. НАРОД и Илья УТКИНА
 Стихи Р. И. ПЕРЕКОВА
 Рассказ Ю. И. МОЛОДНЯКА

Начало в 8 1/2 ч. вечера

Билеты от 15 до 25 коп.

в магазине Благосказалки, в день концерта в кассе клуба с 5 час. утра

Ответственный редактор И. ГОРЬКО



Иосиф Уткин и Михаил Светлов в редакции журнала «Прожектор». Москва, 1927

◀ *Афиша выступления А. Жарова, М. Колосова и И. Уткина. Минск, 1925*





И. Уткин, А. Безыменский и А. Жаров у А. М. Горького в Сорренто Италия, 1928

..милое Детство - *
 Детство...

...Тогда, как я был - и не знаю
 А в...
 ...Сам я не был в школе -
 А был в школе -
 - Там же Маяковский

I

Слова и ритмика -
 Только это слышу.
 Слова и ритмика - и ритмика -
 Дети -
 на полях
 в конюш -
 на углу
 Это все слышу:
 и все слышу

Дети - с ритмом
 - Дети слышат
 - Дети слышат
 - Дети слышат
 Тогда слышат!...

Этот Маяковский
 - Там же Маяковский

Первая страница рукописи поэмы «Милое детство» с пометой А. М Горького: «Очень Маяковским пахнет».



*Иосиф Уткин и Владимир Маяковский во дворе Дома Герцена.
Москва, 1929*



Художник М. Файнзильберг, Валентин Катаев, Евгений Петров, Серафима Суок-Нарбут, Юрий Олеша и Иосиф Уткин во дворе Союза писателей, на панихиде В. В. Маяковского, 1930



Брянский фронт, 1942



Иосиф Уткин и Леонид Кудреватых, 1942

Иосиф Уткин. Бухарест, 1944 ►





XX ВЕК

№ 3. МАИ 1963 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

КЛУБ МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
БРАТСКА ВЫПУСКАЕТ
ТРЕТИЙ НОМЕР УСТНОГО ЖУРНАЛА
„XX ВЕК“

В этом номере

Вы

УЗНАЕТЕ
УВИДИТЕ
УСЛЫШИТЕ

- КАРЛ МАРКС—КАКИМ ЕГО ЗНАЛИ СОВРЕМЕННОКИ.
- ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ В МИРЕ
СТРАНЕ
БРАТСКЕ.
- КИНОСТРАНИЦА.
- АНРИ БАРБЮС—„НЕЖНОСТЬ“.
- Тысяча солнц на службе человека.
- Музыка Эдварда Грига.
- Иосиф Утнин—стихи.
- ВЕСНА И НЕМНОГО ЛИРИКИ.
- *Давайте посмеёмся!*

ДРУЗЬЯ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАШ
УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

13 мая клуб „ЮНОСТЬ“.

14 мая клуб „РАКЕТА“.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Начало в 19 часов.

Афиша клуба «XX век». Братск, 1963

Статья из Кр. лит. энцикл., М., Сов. энцикл., Т. 7, 1972 г.

УТКИН, Иосиф Павлович [15(28). V. 1903, ст. Хинган, ныне Хинганск, Хабаровского края, — 13. XI. 1944] — рус. сов. поэт. Род. в семье ж.-д. служащего. Детство провел в Иркутске. В 1920—22 служил в Красной Армии. В 1927 окончил Моск. ин-т журналистики. Печататься начал в 1922. Первый крупный лит. успех — «Повесть о рыжем Мотэле» (1925) — поэма о «перевернутом» Октябрем быте и укладе провинциального еврейства. В 1927 вышла «Первая книга стихов» У., включившая произв. 1923—26. Сборник заслужил положит. отзыв А. В. Луначарского, отметившего, что поэзия Уткина есть «...музыка перестройки наших инструментов с боевого лада на культурный» (Собр. соч., т. 2, 1964, с. 349).

В 1928 У. с А. А. Жаровым и А. И. Безыменским ездил за границу; в Италии встречался с М. Горьким. В 1928 У. пишет сатирич. поэму-памфлет «Шесть глав». В 1927—32 создает поэму «Милое детство» (1933) — о молодом современнике, порвавшем с мещанской родней и пришедшем в революцию. По отношению к этой поэме, как и к ряду стихов У. 20-х гг., критика высказала упреки в абстрактном гуманизме и «демобилизационных настроениях» (напр., стих. «Гитара»). В 1931 вышел сб. У. «Публицистическая лирика». Последующие поэтич. сб-ки — «Избранные стихи» (1935, 1936), «Стихи» (1935, 1937, 1939), «Лирика» (1939) — включают наиболее зрелые произв. поэта. Сочетание революц. пафоса с мягкой лиричностью сделало поэзию У. популярной в 30-е гг. Лирика его со временем освобождается от ложной многозначительности и укра-



шатательства, обретает ясный, строгий и простой стиль («Тройка», «Над мирным деревянным бытом...», «Утро», «Счастье» и др.).

В 30-е гг. У. заведует отделом поэзии в Гослитиздате, работает с молодыми поэтами, много ездит по стране, выступая с чтением стихов. В 1941 он уходит добровольцем на фронт. Осенью 1941 был ранен. После излечения едет на фронт в качестве воен. корреспондента. Лирика У. воен. лет (сб-ки «Стихи о героях», «Фронтовые стихи», «Я видел сам», все — 1942) напевна, легко переложима на музыку («Заздравная песня», «Гвардейский марш», «Родине», «В дороге»). В лучших стихах поэт достигает глубины и значительности, не теряя лирич. проникновенности и задушевности. В 1942—43 пишет прозаич. произв. «Рассказ майора Трухлева» (не завершен). В 1944 вышел последний поэтич. сб. У. «О родине. О дружбе. О любви». Погиб в авиац. катастрофе под Москвой, возвращаясь с Зап. фронта.

Соч.: Стихотворения и поэмы. [Вступ. ст. З. Паперного], М., 1961; Стихотворения и поэмы. [Вступ. ст. А. Саакянц], М.—Л., 1966.

Лит.: Луначарский А. В., Собр. соч., т. 2, М., 1964, с. 317—19, 327—29, 348—53; Сельвинский И., Поэзия Иосифа Уткина, «Лит. газета», 1944, 2 дек.; Саакянц А., Иосиф Уткин. Очерк жизни и творчества, М., 1969; В ногу с тревожным веком. Воспоминания об Иосифе Уткине, М., 1971; Тарасенков А. н., Рус. поэты XX века. 1900—1955. Библиография, М., 1966. А. А. Саакянц.